

БОЛЬШИЕ И КНИГИ



Генрих Манн

МОЛОДЫЕ
ГОДЫ
КОРОЛЯ
ГЕНРИХА IV

«ИНОСТРАНКА»

Иностранная литература. Большие книги

Генрих Манн

Молодые годы короля Генриха IV

«Азбука-Аттикус»

1935

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Манн Г.

Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн — «Азбука-Аттикус», 1935 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-19410-6

Дилогия немецкого писателя Генриха Манна о французском короле Генрихе IV заслуженно считается шедевром исторической прозы, сравнимым с лучшими романами Александра Дюма и Генрика Сенкевича. Время и место действия – Европа, шестнадцатый век, один из самых кровавых и мрачных: гражданские войны, религиозный фанатизм, Варфоломеевская ночь, смертельная борьба за власть... Европе требовался правитель, способный не только загасить пламя войны, установив долгожданный мир, но и поменять весь ход истории, толкающий народы в бездонную пропасть смерти. Таким правителем оказался король Генрих IV из династии Бурбонов. Многие писатели обращались к жизни этого великого монарха, от Вольтера до Александра Дюма, однако именно Генриху Манну принадлежит наиболее увлекательное, исторически верное и подробное жизнеописание одного из самых популярных королей Франции. В настоящее издание вошла первая часть дилогии о Генрихе IV, рассказывающая о взрослении и духовном развитии будущего монарха, о приключениях и опасностях, через которые ему суждено было пройти на пути к престолу.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-19410-6

© Манн Г., 1935
© Азбука-Аттикус, 1935

Содержание

I. Пиренеи	7
Происхождение	7
Путешествие	11
Первые встречи	13
Враги	16
Былая любовь	19
Явись, Господь, и дрогнет враг	21
Первая разлука	25
Когда умер отец	29
Странное посещение	31
Встреча	33
Moralité	35
Поучение	36
II. Жанна	37
Крепость на берегу океана	37
Цена борьбы	40
Семейная сцена	46
Англия	50
Козни, западни и чистое сердце	53
Совет трех	56
Воистину одна-единственная	59
Флорентийский ковер	61
Письма	65
Чтобы не было бледности	69
В тот же утренний час	71
Иисус	73
Ее новое лицо	77
Ее последний вестник	81
Moralité	84
Поучение	85
III. Лувр	86
Пустые улицы	86
Сестра	88
Королевский замок	89
Злая фея	91
Двое в черном	93
Почти победительница	95
Нечистая совесть	98
Лабиринт	100
Танец-приветствие	104
За королевской трапезой	108
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Генрих Манн

Молодые годы короля Генриха IV

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© В. О. Станевич (наследники), перевод, 1988

© В. Б. Микушевич, стихотворный перевод, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство Иностранка®

* * *

Подчас бывает, что автор соединяет в одном и том же произведении то, что он познал в течение всей своей жизни, и то, что было даровано ему природой. Надо быть достаточно старым и в то же время оставаться достаточно молодым, чтобы осуществился план такого труда, каким стали или стремились стать «Молодые годы короля Генриха IV».

Генрих Манн

Историческая диалогия Генриха Манна принадлежит к числу блистательных, неувядающих образцов мировой романной прозы. Это монументальное произведение крупнейшего немецкого художника и сегодня не утратило своей притягательной силы. Живой интерес вызывает у нас психологически тонко выписанные портреты выдающихся исторических личностей, колоритные, исполненные напряженного драматизма и мастерски воспроизведенные сцены далекого прошлого.

Галина Знаменская, германист и переводчик

І. Пиренеи

Происхождение

Мальчик был маленький, а горы были до неба. Взбираясь от тропки к тропке, он продирался сквозь заросли папоротника, то разогретые солнцем и благовонные, то обладающие свежестью, когда он ложился в тени отдохнуть. Вздымался утес, за ним бушевал водопад, словно свергаясь с небесной выси. Мальчик окидывал взглядом поросшие лесом горы – а глаза у него были зоркие, они различали на той вон далекой скале, меж деревьев, маленькую серну, – терялся взором в синеве глубокого, точно парящего неба, кричал, задрав голову, звонким голосом, от полноты жизни. Бегал, разувшись, по земле, всегда был в движении. Без конца вдыхал теплый легкий воздух, точно омывавший все тело внутри и снаружи. Таковы были его первые труды и радости. Мальчика звали Генрих.

У него были маленькие друзья, они ходили не только босые и простоволосые, но в лохмотьях, полуголые. От них пахло потом, травами, дымом, как и от него; и хотя он не жил, подобно им, в хижине или пещере, но ему нравилось, что от него пахнет, как от других мальчиков. Они научили его ловить птиц и жарить их. Вместе с ними подсушивал он свой хлеб между горячими камнями, натерев его сначала чесноком. Потому что от чеснока вырастешь большой и будешь всегда здоров. Другое средство – вино, они пили его когда и где удавалось. И вино было у всех в крови – у крестьянских ребят, у их родителей, у всей страны. Мать поручила Генриха заботам одной родственницы и воспитателя, чтобы сын рос, как растут дети в народе. Впрочем, и здесь, в горах, он жил в замке; замок назывался Коаррац. Местность называлась Беарн. А горы были Пиренеи.

Говор здесь был звучный, много гласных и раскатистое «р». Когда его матери приспело время родить, она, по приказу деда, запела хорал, прося Матерь Божию подсобить ей: «*Adjutat me a d'aqueste hore*»¹. Это было местное наречие – все равно что латынь. Поэтому мальчик легко научился говорить по-латыни, но только говорить: дед запрещал ему учиться писать, да и спеху не было, ведь он еще мал.

Старик Генрих д'Альбре умирал внизу, в своем замке По, а тем временем в Коарраце молодой Генрих болтал по-латыни, взбирался на лесистые склоны, гоняясь за маленькими сернами – их называли *isards*, – но серны все-таки оставались недоступными. И может быть, последний хрип старика совпал с радостным криком внука, когда тот купался вместе с мальчиками и девочками в ручье пониже большого водопада, рассыпавшего сверкающие брызги.

Тела девочек чрезвычайно занимали его. Поглядишь, как эти существа раздеваются, ходят, говорят, смотрят, – оказывается, они устроены совсем по-другому, чем он, особенно плечи, бедра, ноги. Одной девочкой – грудь у нее уже начала развиваться – он особенно пленился и решил, что будет за нее бороться. А это, как он заметил, было необходимо: сама-то она выбрала не его – рослый парнишка постарше, с красивым глупым лицом ей больше приглянулся. Почему – Генрих не стал спрашивать; может быть, этим прекрасным созданиям и не нужно никаких почему, – но он-то знал, чего хочет.

И вот маленький мальчик вызвал большого на состязание, кто из них перенесет девочку через ручей. Ручей был не глубокий, но в нем встречались водовороты и гладкие камни – ступишь на них неловко, и они выкатываются из-под ног. Соперник тут же поскользнулся, девочка тоже упала бы, если бы Генрих не подхватил ее. Ему-то в этом ручье был знаком

¹ Да поможет она мне в этот час (*лат.*).

каждый камешек, и он перенес ее, напрягая все свои силки, – ведь она была претяжелая, а он всего только худенький малыш. Выйдя на берег, Генрих поцеловал девочку в губы, и она, изумленная, не сопротивлялась; он же сказал, ударив себя в грудь:

– Тебя перенес через ручей принц Беарнский.

Крестьянская девочка взглянула на его детское взволнованное лицо и расхохоталась, этот смех отозвался болью в его сердце, но не лишил отваги. Она уже подбежала к своему незадачливому поклоннику, когда Генрих крикнул: «Aut vincere aut mori!»² Это было одно из тех изречений, которым научил мальчика его воспитатель. Генрих сильно надеялся поразить им своих приятелей. Новое разочарование – крестьянским ребятам наплевать было и на принца, и на его латынь. Победа и смерть были им одинаково неведомы. Итак, ему оставалось одно: он опять вошел в ручей и шлепнулся в воду нарочно – еще смешнее, чем перед тем его соперник. Состроил глупую рожу, захромал, как тот, стал браниться, подражая его голосу, и все так похоже, что ребята, глядя на шутника, невольно расхохотались. Даже прелестную девочку он заставил рассмеяться!

А потом тут же ушел. Хоть и было Генриху тогда всего четыре года, однако успех уже привлекал его. Сейчас он его добился, но в груди боролись противоречивые чувства. Месть свершилась, но воспоминание осталось. Несмотря на отвагу и уверенность в себе, тоска и влечение к девочке не исчезли.

Мать позвала его домой, и вначале он только и говорил что о девочке. Тем временем умер дед, Генрих его уже никогда не увидит. Гораздо хуже то, что его девочка далеко и ее сюда не пустят.

– Пошли же за ней, мама, я хочу на ней жениться. Правда, она больше меня, да ничего, я подрасту.

И только новые впечатления точно ветром смели его прежние чувства. Причиной оказалась молодая фрейлина его матери.

В По держали маленький двор, – вернее, это был просто расширенный круг семьи. Старик д'Альбре был сельский государь. Свой сильно укрепленный замок он перестроил, и благодаря новым веяниям замок стал даже красив и затейлив. С балкона открывался вид на глубокий дол внизу, там ласкали взор виноград, маслины, зеленые леса, меж ними сверкали речные излучины, а дальше синели Пиренеи.

Горы тянулись как непрерывное шествие, – больше нигде таких не увидишь, леса зеленели до самого неба; и, скользя по ним, радовался глаз, особенно глаз владельца. Старик д'Альбре, сельский государь, владел склоном Пиренеев по эту сторону хребта со всеми прилегающими к нему холмами и долинами и всем, что там произрастало и множилось: плодами, скотом, людьми. Он владел самым южным уголком Западной Франции: Беарном, Альбре, Бигоррой, Наваррой, Арманьяком – старой Гасконью. Он именовался королем Наварры и был бы, вероятно, просто подданным короля Франции, обладай тот всей полнотою власти. Но королевство было расколото надвое католиками и протестантами – притом во всех своих частях и уже давно. А для провинциальных государей, подобных королю Наваррскому, это служило самым подходящим предлогом, чтобы сделаться самостоятельными и отнять у соседа вооруженной рукой все, что удастся, – хотя бы только холм с виноградником.

Да и по всей стране грабили и убивали во имя обеих враждующих вер. Люди относились к различиям этих вер с глубочайшей серьезностью; между теми, кому раньше и делить было нечего, возникала теперь смертельная вражда. Иные слова, особенно слово «обедня», имели столь великую власть, что брат брату становился чужаком, – уже не родная кровь. Почиталось естественным призывать на помощь швейцарцев и немцев: если они исповедовали истинную веру, то есть либо ходили к обедне, либо не ходили, – этого было достаточно, чтобы предпо-

² Победить или умереть! (лат.)

честь их инакомыслящим соотечественникам и представить им право участвовать в грабежах и поджогах.

Эта религиозная воинственность всего населения была его правителям бесспорно выгодна. Разделяли они его верования или не разделяли, но, пользуясь междоусобицей и разбойничая во имя религии, они успешно расширяли свои владения или, встав во главе маленьких, незаконно созданных отрядов, вели за чужой счет жизнь, не лишённую приятности. Гражданская война стала для иных прямо-таки ремеслом, хотя для большинства жителей она была бедствием. Зато им оставалась их вера.

Старик д'Альбре был добрый католик, но без крайностей. Никогда не забывал он, что и его подданные-протестанты плодят детей, а те становятся полезными работниками, пахут землю, платят подати, приумножают богатства страны и своего господина. Поэтому он спокойно разрешал им слушать протестантские проповеди, а его солдаты охраняли пасторов не хуже, чем капелланов. Вероятно, он понимал и то, что число протестантов, называвших себя гугенотами, все возрастает, и это скорее на пользу его самостоятельности, чем во вред – ведь двор в Париже на самом деле уж чересчур католичен. Сам же он принадлежит к числу тех феодальных сеньоров, для которых главное не допускать, чтобы король Франции забрал в свои руки слишком большую власть. За последнее время они пользовались для этой цели гугенотами, ревнителями молодой новой веры, которые общались с истинным Богом, хотя мягче от этого не становились.

Гугеноты были бунтовщиками и против светской власти, и против духовной. Даже в Беарне мужики уже потребовали: пусть им покажут, где это в Библии сказано про налоги. А нет, так они и платить не будут! Ну, старик умел с ними ладить, он и сам ведь был вроде них. Пошуметь они любили, но неизменно сохраняли трезвость суждений и сражались храбро, не забывая в то же время о своей выгоде.

Подобно им, старик носил баскский берет, когда не надо было надевать шлем и панцирь, и любил свой родной край, как самого себя, – именно вот этот кусок земли, который он мог охватить взглядом и всеми своими чувствами. Когда настало время родиться его внуку Генриху, дед постарался, чтобы это произошло в замке По, и только по его требованию дочери Жанне пришлось на сносях совершить путешествие. Мало ему было и того, что она во время родовых схваток пела на местном наречии хорал «Adjutat me a d'aqueste hore», чтобы внук его был жизнерадостным и не знал уныния. Едва мальчик родился, как старик дал ему понюхать местное вино, и когда дитя качнуло головкой, признал в нем свою плоть и кровь и тут же натер ему губы чесноком.

Так, после двух внуков, которым не суждено было выжить, этот все-таки уцелел, поэтому старик завещал дочери все свои владения и свой титул. Теперь Жанна стала королевой Наваррской. Ее супруг, Антуан Бурбонский, командовал войсками французского короля, ибо состоял с ним в дальнем родстве и был его генералом. Большую часть времени он проводил в походах. Жанна страстно его любила, пока он не начал домогаться других женщин; однако она никогда не возлагала на него особых надежд, к тому же ему было суждено рано умереть. Ее притязания шли гораздо дальше того, о чем мог мечтать Антуан: ведь ее мать приходилась родной сестрой Франциску Первому – тому самому королю, которому так не повезло в сражении при Павии против Карла Пятого; однако власть французской короны внутри страны Франциск расширил и укрепил.

После смерти отца Жанна д'Альбре сделалась непомерно важной дамой, но земель Беарн, Альбре и Наварра, составлявших целое королевство, ей все-таки казалось недостаточно. У прежнего короля Франции из дома Валуа было четыре сына, поэтому побочная ветвь Бурбонов едва ли могла рассчитывать получить власть в скором будущем. Однако Жанна дерзко предрекла сыну своему Генриху самую необыкновенную судьбу, о чем позднее вспоминали с удивлением, – должно быть, она имела дар ясновидения. Но ею руководило только честолюбие, оно

выковало в столь хрупкой женщине нестигаемую волю, а ее пророчество, которое она оставила сыну как завещание, наложило печать на всю его судьбу.

Едва мальчик к ней вернулся, как Жанна прежде всего стала преподавать ему историю их дома. Она не замечала, что он все время жмет к хорошенькой фрейлине или, как в Пиренеях, босиком выбегает играть на улицу, влекомый любопытством к девочкам, этим столь загадочным для него созданиям. Но Жанна не видела действительной жизни, она жила мечтами, как это бывает у слабогрудых женщин.

Королева сидела в своих покоях, одной рукой обхватив Генриха, который охотнее резвился бы, точно козленок, другой прижимая к себе его сестричку Екатерину. Жанна нежно склоняла голову с тускло-пепельными волосами между головками обоих детей. Лицо у нее было тонко очерченное, узкое, бледное, брови страдальчески хмурились над темными глазами, лоб уже прорезали первые морщины, и углы рта слегка опустились.

– Мы скоро поедem в Париж, – сказала она. – Наша страна должна стать обширнее. Я хочу прибавить к ней испанскую часть Наварры.

Маленький Генрих спросил:

– А почему же ты не возьмешь ее себе? – И тут же поправился: – Пусть папа ее завоюет!

– Наш король дружит с королем испанским, – пояснила мать. – Он даже позволяет испанцам вторгаться к нам.

– А я не позволю! – тотчас воскликнул Генрих. – Испания – мой враг и врагом останется! Оттого что я тебя люблю, – пылко добавил он и поцеловал Жанну.

А она пролила невольные слезы, они падали на ее полуобнаженную грудь, к которой, словно желая утешить мать, прижался маленький сын.

– Неужели мой отец всегда слушается только короля Франции? Ну, уж я-то ни за что не стану, – вкрадчиво заверил он мать, чувствуя, что ей эти слова приятны.

– А мне можно с вами ехать? – спросила сестричка.

– Фрейлину тоже надо взять, – решительно заявил Генрих.

– И наш папочка там с нами будет? – спросила Екатерина.

– Может быть, и будет, – пробормотала Жанна и поднялась со своего кресла с прямой спинкой, чтобы не отвечать на дальнейшие расспросы детей.

Путешествие

Несколько времени спустя королева перешла в протестантскую веру. Это было немало-важное событие, и оно отозвалось не только на ее маленькой стране, которую она по мере сил старалась сделать протестантской; оно усилило боевой дух и влияние новой религии повсюду. Но сделала это Жанна по той причине, что ее супруг Антуан и при дворе и в походах брал себе все новых любовниц. И так как он был сначала протестантом, а потом, по слабости характера, снова вернулся в лоно католической церкви, она поступила наоборот. Может быть, она переменила веру и из подлинного благочестия, а главное, чтобы бросить вызов своему вероломному супругу, двору в Париже, всем, кто обижал ее или становился поперек дороги. Ее сын когда-нибудь станет великим, но лишь в том случае, если он поведет за собой протестантские полки, – материнское честолюбие давно ей это открыло.

Когда наконец наступило время отъезда в Париж, обняла Жанна своего сына и сказала:

– Мы едем, но ты не думай, будто делается это ради нашего удовольствия. Ибо мы отправляемся в город, где почти все – враги нашей веры и наши. Никогда не забывай об этом! Тебе уже семь лет, и ты вошел в разум. Помнишь ли, как однажды мы уже являлись ко двору? Ты был тогда совсем крошка и, пожалуй, забыл. А отец твой, может быть, и вспомнил бы, да слишком у него память коротка и слишком многое он порастерял из того, что было когда-то.

Жанна погрузилась в горестные думы.

Генрих потянул ее за рукав и спросил:

– А как в те времена было при дворе?

– Покойный король еще здоровствовал. Он спросил тебя, хочешь ли ты быть его сыном. Ты же указал на своего отца и говоришь: «Вот мой отец». Тогда покойный король спросил, хотел ли бы ты стать его зятем. А ты ответил: «Конечно», и с тех пор они выдают тебя за жениха королевской дочери; они на этом хотят нас поймать. Я тебе к тому говорю, чтобы ты им не очень-то верил и был начеку.

– Вот хорошо! – воскликнул Генрих. – Значит, у меня есть жена, а как ее зовут?

– Марго. Она дитя, как и ты, и еще не может ненавидеть и преследовать истинную веру. Впрочем, я не думаю, чтобы ты женился на Маргарите Валуа. Ее мать, королева, уж очень злая женщина.

Лицо матери вдруг изменилось при упоминании о королеве Франции. Мальчик испугался, и его фантазия получила как бы внезапный толчок. Он увидел ужасающую, нечеловеческую морду, когтистую лапу, здоровенную клюку и спросил:

– Она ведьма? Она может колдовать?

– Уж наверно, ей очень хотелось бы, – подтвердила Жанна. – Но самое гадкое не это.

– Она изрыгает огонь? Пожирает детей?

– И то и другое; но ей не всегда удается, ибо, к счастью, Бог покарал ее за злобу глупостью.

Смотри, сын мой, обо всем этом – ни единому человеку ни слова.

– Я обо всем буду молчать, мамочка, и буду беречься, чтобы меня не сожрали. – В ту минуту мальчик был поглощен своими видениями и не допускал, что может когда-либо позабыть и эти видения, и слова своей матери.

– Главное – крепко держись истинной веры, которой я научила тебя! – сказала Жанна проникновенно и вместе с тем угрожающе; и ему опять стало страшно – еще страшнее.

Вот первое, что Генрих узнал от своей матери о Екатерине Медичи. Затем они в самом деле пустились в путь.

Впереди, в большой, старой, обтянутой кожей карете ехал воспитатель принца Ла Гошери, два пастора и несколько слуг. За каретой скакали шесть вооруженных дворян – все

протестанты, – и следовала обитая алым бархатом карета королевы, где сидела Жанна с обоими детьми и тремя придворными дамами. Замыкали поезд опять-таки вооруженные дворяне, ревнители «истинной веры».

В начале путешествия все было еще как дома – язык, лица, местность, пища. Генрих и его сестричка Екатерина переговаривались через окно с деревенскими ребятами, то и дело бежавшими рядом с каретой. По причине июльской жары окна экипажей были закрыты. Несколько раз ночевали еще в своей стране, останавливались и в Нераке, второй резиденции. Вечером собиралось все протестантское население, пасторы говорили проповеди, народ пел псалмы. Некоторое время дорога вела через Гиеннь, когда-то Аквитанию, где главным городом был Бордо, а представителем французского короля считался Антуан Бурбон, супруг Жанны. Затем пошли чужие края.

Потянулись места, которые этому сыну Пиренеев и во сне не снились. Как странно люди были одеты! Как они говорили! Понять – понимаешь, а ответить не можешь. Летом реки здесь не пересыхали, как он привык к тому у себя в Беарне. Ни одной маслины, даже ослики попадались все реже. По вечерам королева и ее протестанты были одни среди неведомых людей и выставляли стражу: здешним католикам нельзя было доверять. Вчера пасторы начали было проповедовать, но значительно превосходящие их числом враги изгнали верующих из пустой и унылой молельни, стоявшей далеко за городом; вынуждена была поспешно бежать с детьми и королева Наваррская. Тем счастливее чувствовали себя путешественники, если где-нибудь большинство населения оказывалось их единоверцами. Тогда Жанну принимали как провозвестницу истинной религии, ее ждали, молва опережала ее приезд, все хотели поглядеть на ее детей, и, подняв их на руках, она показывала их народу. Пасторы проповедовали, верующие пели псалмы, потом все садились за праздничную трапезу.

На восемнадцатый день пути они переправились через Луару под Орлеаном. Жанна объехала город стороной, вооруженные гугеноты верхами скакали возле самой королевской кареты и обступили ее еще теснее, когда показались посланцы французской королевы. Это были придворные, они учтиво приветствовали Жанну, но они привели с собой личную охрану, состоящую из католиков, и те возымели намерение ехать ближе к карете, чем гугеноты. Однако свита Жанны и не думала уступать, завязалась рукопашная. Маленький Генрих высунулся из окна и подзадоривал своих на беарнском наречии, которого католики не понимали. Внезапный ливень остудил воинственный пыл дерущихся, они поневоле засмеялись и снова стали учтивы. Небо в темных тучах нависло над непривычными для южан тополями, в которых шумел ветер. Здесь было свежо в августе и как-то неприятно.

– Что там за черные башни, мама, и почему они горят?

– Это солнце садится позади замка Сен-Жермен, куда мы едем, дитя мое. Там живет королева Франции. Ты ведь помнишь все, что я тебе рассказывала и что ты обещал мне?

– Я все помню, мамочка.

Первые встречи

Генрих сразу же повел себя как молодой забияка, гордый и воинственный. Правда, сначала он видел только слуг: они разлучили его с матерью и оставили при нем в комнате лишь воспитателя, а затем подали на стол мясо, одно мясо! Когда и на другой день ему предложили только мясо, он стал настойчиво требовать южных дынь – сейчас была как раз их пора. Генрих расплакался, отказался есть, и для утешения его отправили в сад. Дождь наконец перестал.

– Я хочу к маме. Где она?

Ему ответили: «У мадам Екатерины», и Генрих испугался, ибо знал, что это королева. Он больше ни о чем не спрашивал.

На нем было его лучшее платье, за ним шли два господина – воспитатель Ла Гошери и Ларшан, беарнский дворянин. Дойдя до лужайки, он повстречался с тремя мальчиками, их тоже сопровождала свита, но она была многочисленнее. Генрих сразу же заметил, что они держатся не так, как дети, которым хочется поиграть; особенно старший – он вилял бедрами и задирает голову, точно взрослый щеголь; его белый берет украшали перья.

– Господа, – обернулся Генрих к своим спутникам, – это что за птица?

– Осторожнее, – прошептали они, – это король Франции.

Обе группы остановились одна против другой, молодой король стоял перед маленьким принцем Наваррским. Он словно застыл на месте, ожидая, когда Генрих подойдет поближе. А тот не спеша разглядывал его. У Карла Девятого не только берет был белый, он был весь в белом, с головы до ног. Шею охватывало белое жабо, лицо словно лежало на нем, он слегка отвернулся, смотрел, чуть скосив глаза. Его взгляд, хитрый и грустный, как будто говорил: «Я про тебя уже все знаю. К сожалению, мне про всех вас нужно все знать».

А Генриху вдруг стало весело, впервые после приезда. Он готов был звонко рассмеяться, но те, за спиной, опять прошептали: «Осторожнее!» Тогда семилетний мальчик ударил себя в грудь, склонился перед двенадцатилетним до земли и описал правой рукой широкий круг у своих ног. Он повторил этот маневр справа и слева от короля и, наконец, даже за его спиной, причем кое-кто из господ придворных улыбнулся. Но Ларшан, дворянин из свиты Жанны, тот опустился перед Карлом на одно колено и заявил:

– Сир! Принц Наваррский еще ни разу не видел великого короля!

– Ну, сам он никогда королем не станет, – небрежно уронил Карл, и губы его под мясистым носом снова крепко сомкнулись.

Теперь рассердился Генрих: его ласкающие, приветливые глаза гневно блеснули, и он воскликнул:

– Не вздумайте сказать это при моей матери, да и при вашей, которая правит за вас!

Слова эти были, пожалуй, слишком унижительны, чтобы их воспринял слух короля; господа, сопровождавшие Карла Девятого, испугались. Он же лишь опустил веки; но в это мгновение Карл запомнил кое-что навсегда.

А Генрих сразу же успокоился и непринужденно заговорил с двумя другими мальчиками.

– Ну а вы? – спросил он, желая их подбодрить, ибо они показались ему не в меру смущенными. Все это происходило потому, что сам он еще не получил придворного воспитания.

– Меня называют монсеньор, – ответил один из младших мальчиков – ровесник Генриха. – Это мой титул, я ведь старший из братьев короля.

– А меня зовут просто Генрих.

– О, меня тоже, – с чисто детской живостью воскликнул монсеньор, и оба принялись внимательно друг друга разглядывать.

– А у вас нет дынь? – спросил Генрих, сразу устремившись к цели. Младший из королевских братьев рассмеялся вопросу Генриха, словно то была шутка. Видно было, что этот малыш редко бывает шумлив и весел.

Над детьми зеленела листва высокого дерева, в ней запела какая-то птица, все трое посмотрели вверх. Потом они увидели, что король проследовал дальше и за ним – вся свита. Оба спутника принца Наваррского беседовали с французскими дворянами, это их отвлекло. А Генрих прошептал:

– Нужно снять башмаки.

Сказано – сделано. Мальчик начал взбираться по стволу. Достигнув вершины, он заявил двум стоявшим внизу:

– Сейчас я спрячусь. А вы что же – боитесь?

Когда он на самом деле совсем исчез среди листвы, они не захотели отстать от него, тоже засунули в кусты свои башмаки и стали карабкаться на дерево.

– Здесь они нас ни за что не найдут, – сказал Генрих. – Они везде будут искать, а вы пока сведите меня знаете куда?.. Нет! Гнезда не трогайте! Видите, у птиц желтые клювы? В точности такие же птички свили себе гнездо перед моим окошком дома, в По.

Вернулось несколько придворных, они поглядели по сторонам, посоветовались и направились в другую сторону. Все три мальчика тут же слезли с дерева и наконец отвели Генриха туда, куда ему хотелось: на огород. Желанные плоды лежали на черной земле, он сел, зарылся в нее руками и босыми ногами и, ликуя, пробормотал:

– Вот здесь хорошо!

Воздух благоухал душистыми травами. Генрих наслаждался, он чувствовал на губах вкус всего – лука, чеснока, салата.

– Ну а вы?

Они же стояли и смотрели на свои зарывшиеся в землю ноги.

– Земля – это грязь, – заявили братья короля. Тут Генрих заметил неподалеку одного из садовников. Узнав принцев, этот простак хотел было убраться от них подальше. Но Генрих крикнул:

– Пойди сюда, не то, смотри, тебе плохо придется! – Тогда увалень, согнувшись в три погибели, приблизился неслышными шагами. – Возьми нож! Взрежь-ка самую спелую дыню. – Уничтожив добрую половину, он заявил, что дыня водянистая и кислая. – Получше-то у вас нет?

Парень стал оправдываться: все время, дескать, шли дожди. Генрих небрежно бросил:

– Я тебя прощаю.

Затем, не переставая есть, принялся расспрашивать об огороде и о том, как живет садовнику.

– Приезжай в Наварру, – заметил он, – вот там дыни так дыни! Я угощу тебя! Не строй дурацкой рожи! Не знаешь, что такое Наварра? Это такая страна, побольше Франции будет. И дыни там огромные, куда больше здешних.

– И пузо у тебя тоже огромное! – заметил второй Генрих, которого называли монсеньор. Ибо его чужеземный кузен съел всю дыню один и даже спросил:

– Что, если я взрежу еще одну?..

– Обжора, – добавил Генрих Валуа, однако это не прошло ему даром. Генрих Бурбон крикнул:

– А хочешь, я дам тебе под зад?! – и уже вытащил было ногу из земли; но не успел он подняться, как Валуа убежал, его младший братишка, плача, последовал за ним. Генрих остался победителем.

Мимо него проскакал кролик. Генрих бросился догонять его. Кролик спрятался, мальчик опять поднял его, но тот не давался в руки. Генрих совсем запыхался от этой погони.

– Генрих! – Перед ним стояла его сестричка, а рядом с ней другая девочка. Она была выше Екатерины, а по годам – ему ровесница. Генрих уже догадался, кто это. Но сначала слова не мог вымолвить от изумления. Сестричка Генриха заявила:

– Вот мы и пришли. Марго хотелось поглядеть на тебя.

– Вы всегда такой грязный? – спросила Маргарита Валуа, сестра короля.

– Мне захотелось дынь, – отозвался он, и ему стало стыдно. – Пойдите, я и вас угощу.

– Благодарю, мне нельзя...

– Ах да! Вы можете запачкать ваше нарядное платье.

Она улыбнулась и подумала: «И лицо тоже. Я ведь накрашена, а этот мужлан даже не замечает».

Какая девочка! Он никогда еще таких не видел. Его маленькая Екатерина, которую он так крепко любит, рядом с ней просто скотница, несмотря на свой праздничный наряд. Цвет лица у Маргариты напоминал розы и гвоздики, да и те могли бы ей позавидовать. Белое платье плотно облегло стан, а от бедер расширялось книзу пышными жесткими складками, поблескивая золотой вышивкой и разноцветными камнями. Белыми были и ее туфли, на них налипло немного земли. В неудержимом порыве Генрих опустился на колени и снял губами грязь с туфелек Марго. Затем поднялся и сказал:

– У меня руки в земле.

И вдруг рассердился, ибо девочка надменно усмехнулась. Генрих отвел сестру в сторону и зашептал ей, но так, чтобы гордячка непременно услышала:

– Я сейчас задеру ей юбку, надо же посмотреть, какие у нее ноги, – может, не такие, как у всех девочек. – Тут улыбка маленькой принцессы одеревенела. А он еще добавил: – И нос у нее слишком длинный. Знаешь что, Катрин, забирай-ка ты ее обратно.

Лицо красивой девочки скривилось – сейчас заплачет. Через мгновение Генрих стал опять изысканно вежлив.

– Мадемуазель, я просто глупый деревенский мальчишка, а вы прекрасная девица, – сказал он с отменной учтивостью.

Сестра заявила:

– А она умеет говорить по-латыни.

Тогда он обратился к Марго на этом древнем языке и спросил, не обручена ли она уже с каким-нибудь принцем. Девочка ответила – нет; таким образом он узнал, что история, рассказанная ему его дорогой матушкой, была только сказкой, ей все это приснилось. Вместе с тем он подумал: «Чего нет, то еще может быть». А пока заметил:

– Ваши два брата удрали от меня.

– Верно, мои братья испугались вашего запаха. Так не пахнет ни от одного принца, – сказала Маргарита Валуа и наморщила свой слишком длинный носик. Генрих Бурбон оскорбился, он гневно спросил:

– А вы знаете, что это значит: *Aut vincere aut mori*?

Она ответила:

– Нет, но я спрошу у своей матери.

Вызывающе смотрели дети друг на друга. Маленькая Екатерина испуганно проговорила:

– Осторожно, кто-то идет.

Подошла дама, явно из числа придворных, – может быть, даже воспитательница принцессы, ибо она тут же выразила свое недовольство:

– Что это за чумазый мальчишка? С кем вы беседуете, сударыня?

– Говорят, это принц Наваррский, – отозвалась Маргарита.

Дама тотчас низко присела:

– Ваш отец прибыл, сударь, и желает вас видеть. Но сначала вам следует умыться.

Враги

Тем временем мать Генриха, Жанна д'Альбре, вела беседу с Екатериной Медичи. Екатерина выказала неожиданное дружелюбие, покладистость, предупредительность и, видимо, старалась обходить все спорные вопросы. А протестантка, разговорившись, либо совсем этого не замечала, либо сочла за уловку.

– Истинная религия и ее враги никогда не сговорятся, – упрямо повторяла она. Затем произнесла, точно давая клятву: – Будь у меня по одну руку все мое королевство, а по другую – мой сын, я скорее утопила бы обоих на дне морском, чем отступилась.

– А что такое религия? – спросила толстая черная Медичи тощую белокурую д'Альбре. – Право же, пора бы нам с вами и за ум взяться. Из-за наших вечных междоусобиц мы теряем Францию: я ведь вынуждена впустить испанцев – одна я не справлюсь с вашими протестантами. При всем том я вовсе не чувствую к вам ненависти и, если б можно было, охотно выкупила бы у вас вашу веру.

– Вот и видно, что вы дочь флорентийского менялы, – презрительно отозвалась Жанна. Королеве Наваррской пришлось перед тем выслушать нечто гораздо более оскорбительное. Однако Екатерину трудно было смутить.

– Вы радоваться должны, что я итальянка! Никогда французская католичка не стала бы вам предлагать столь выгодные для вас условия мира. Пусть ваши единоверцы свободно исповедуют свою религию, я дам им надежные убежища, укрепленные города. За это я требую только одного: перестаньте разжигать ненависть к католикам и нападать на них.

– Я Бог гнева, говорит Господь.

Жанна, взволнованная до глубины своего существа, невольно вскочила. Екатерина же продолжала спокойно сидеть в кресле, сложив на животе мясистые ручки, покрытые ямочками и перстнями.

– Вы гневаетесь, – сказала она, – потому, что бедны. Все дело в том, что междоусобная война для вас выгодна. Я предлагаю вам деньги, тогда и воевать будет незачем.

Столь чудовищное непонимание и презрение окончательно вывели Жанну из себя. Ей хотелось наброситься с кулаками на эту бабищу. Запинаясь, она проговорила:

– А сколько получают любовницы моего мужа за то, чтобы восстанавливать его против истинной веры?

Екатерина молча кивнула, будто она именно этих слов и ожидала. Отлично! Наконец-то гостя все выложила. Нашлась воительница за веру! Просто-напросто ревнует. Отвечать незачем, все равно белобрысая особа с козым лицом ничего не услышит. Жанна, не в силах владеть собой, едва добрела до стены и, словно лишившись чувств, повалилась на большой ларь. В это мгновение открылась дверь, расписанная и позолоченная, но окованная железом. Стража стукнула об пол алебардами, и в залу вступил король Наваррский, держа за руки двух своих детей.

Антуан Бурбон шел, виляя бедрами, как ходят обычно любимые женщинами красавцы-мужчины, да он и был красавцем. Король держался так на всякий случай – еще не уяснив себе, что здесь происходит. Окна были скрыты в глубоких нишах, и каждый, кто попадал в эту комнату, сначала ничего не видел, кроме сумрака. У дальней стены королю Наваррскому почудилось какое-то движение, он тотчас схватился за кинжал. Тогда Екатерина от души расмеялась, хотя и потихоньку, себе под нос.

– Смелей, Наварра! Гляди хорошенько, я никогда не прячу убийц, особенно когда имею дело с таким мужчиной, как вы!

Нельзя было не уловить в ее тоне совершенно явного пренебрежения, но Антуан был слишком упоен собой. Он решил больше не обращать внимания на подозрительную стену и низко склонился перед Екатериной. Затем сказал с подобающей чопорностью:

– Вот сын мой Генрих, мадам, он просит вашего покровительства. – Сестричка не шла в счет, от стыда она опустила взор.

Генрих так был поглощен разглядыванием королевы, что даже забыл отвесить ей поклон. Ведь перед ним, посреди огромной комнаты, на том месте, куда больше всего падало света, сидела та самая страшная и злая мадам Екатерина – да, это была она. Занятый впечатлениями путешествия, новыми знакомствами в саду и особенно дынями, он о ней совсем позабыл и только сейчас вспомнил тот образ, который перед тем нарисовал себе: непременно когти, горб, нос, как у ведьмы. Такой он ожидал ее увидеть. Однако ничего этого не оказалось. Уж очень она была обыкновенная. В кресле с высокой прямой спинкой Медичи казалась маленькой и ужасно жирной, рыхлые белые щеки, черные глаза, как черные угольки, но потухшие. Генрих был разочарован.

Поэтому он окинул повеселевшим взором залу, и что же? О! Он видел зорче своего отца, да и любил сильнее. Мальчик бросился прямо туда, где полулежала, привалившись к стене, Жанна.

– Мама! Мама! – позвал он и при этом успел подумать: «Значит, все-таки та что-то сделала с ней». – Что над тобою сделала эта злая мадам Екатерина? – настойчиво шептал он, целуя мать.

– Ничего. Мне просто было дурно. А теперь давай встанем и будем вести себя как можно учтивее. – Жанна так и сделала.

Обняв маленького сына, она подошла к мужу, улыбнулась ему и сказала:

– Вот наш сын, – однако не сняла руки с его плеча. – Я взяла его с собой, чтобы ты опять свиделся с ним, дорогой супруг, ты ведь так редко приезжаешь домой. Особенно же хочется мне представить королеве Франции ее маленького солдата, он будет служить ей так же доблестно, как служит отец.

– И хорошо сделала, что привезла, – добродушно отозвалась Екатерина. – Что до меня, то жили бы мы лучше мирно, всем королевством, как одна семья.

– А мне тогда, пожалуй, пришлось бы пахать мои земли? – с неудовольствием спросил вояка Антуан.

– Вам следовало бы больше уделять внимания жене. Она вас любит, и к тому же у нее часто бывают головокружения. Впрочем, я могу дать ей хорошее лекарство.

Жанна содрогнулась: она слишком хорошо знала, каковы лекарства этой ядосмесительницы!

– Уверю вас, в нем нет нужды! – торопливо возразила она Екатерине.

Когда Жанна поднялась с ларя и приблизилась к королеве, ей пришлось сделать немалое усилие, чтобы овладеть собой; однако сейчас она притворялась уже без труда, не хуже самой Екатерины. А та продолжала разыгрывать материнскую заботливость.

– Вашей жене, Наварра, я предложила свою дружбу и полагаю, она желает мне добра не меньше, чем я ей.

Жанна невольно и быстро подумала: «Мой сын будет великим, и я еще с вами справлюсь. Да, я еще с вами справлюсь – и мой сын станет великим. Я племянница Франциска Первого, а эта – дочь лавочницы!»

Однако восхищенное и ласковое выражение ее лица ничуть не изменилось, да и лицо Екатерины, что бы она там про себя ни таила, продолжало оставаться по-матерински благоклонным. Только тем и выдала себя Медичи, что детей словно вовсе не заметила, даже стоявшей перед ней испуганной девчурки. А еще мать из себя корчит!

– Всею душою готова быть вам другом, – воскликнула Жанна в восторге, что поймала противницу.

Былая любовь

Антуан Бурбон был искренне рад исходу этого разговора. Когда они остались в своей комнате одни, он обнял сначала жену, потом сына и показал ему в окно маленькую лошадку, которую проводили по двору:

– Это тебе. Можешь сейчас же покататься на ней верхом.

Генрих убежал вприпрыжку. Сестричка пошла следом, ей хотелось полюбоваться на брата.

Теперь на лице Жанны уже не было и следа того восхищения, которое она старалась выказать Медичи. Довольный супруг не сразу заметил происшедшую в ней перемену. Она же, как бы в рассеянности, взглянула на него и спросила:

– Да, как зовут ту женщину, с которой тебя теперь видят всего чаще? Ну, она еще сопровождала тебя в походе, да, вероятно, и сюда приехала?

– Все это сплетни! – Он еще имел дерзость самодовольно ухмыльнуться, и Жанна при виде этой ухмылки едва сдержалась.

– Неужели ты все забыл? – вдруг спросила она низким и певучим голосом. В иные мгновения у Жанны появлялся этот удивительный голос, подобный органу, слишком сильный, слишком звучный для столь слабой груди. Услышав его, муж был глубоко взволнован, перед ним тотчас же возникло все, что ей хотелось напомнить ему. Слова уже были не нужны. Ведь они горячо и долго любили друг друга.

Жанна досталась ему после того, как она в одиночестве упорно боролась, не желая принадлежать никому, кроме Антуана. Еще до их знакомства ее против воли выдали за другого, причем в церковь отнесли на руках – она уверяла, будто не может идти; и в самом деле, платье на ней было слишком тяжелое от драгоценных камней. Но еще больше весила ее воля, хотя Жанна и была тогда совсем девочкой. Пусть ее выдали насильно, все-таки через несколько лет наступил день, когда к ней пришло счастье именно с тем, с кем она хотела быть счастливой. Однако годы цветения миновали, рано увяла и она сама, и ее счастье. Теперь у нее остался только сын, и это сокровище оказалось драгоценнее всего, чем она раньше владела. Если бы Антуан только захотел понять, как это важно: у них есть сын!

Волнения мужа, вызванного ее голосом, конечно, хватило ненадолго, а ее болезненный вид отнюдь не мог воскресить воспоминаний о днях былой любви. Антуан слишком привык жить сегодняшним днем и его страстями – какой-нибудь осадой, интригой, молодой бабенкой. Правда, после того как Жанна произнесла: «Неужели ты все забыл?», ему на миг захотелось ее обнять, но это уже не было созвучным порывом тех чувств, которые когда-то владели ими, а лишь любезностью, поэтому Жанна отстранила его.

Все же Антуан принялся уверять жену, что чрезвычайно доволен ею и рад ее сдержанности. А Жанна заявила в ответ: она меньше всего желает быть отравленной. Притом не столько помышляет о себе, сколько об интересах религии.

– Ты, в сущности, поступил правильно, дорогой супруг, что снова сделался католиком и стал служить французскому королю.

– Мне обещали испанскую Наварру.

– Они тебе не дадут ее, испанский король им нужен, чтобы бороться с нами, протестантами. Своих маленьких целей ты не достигнешь, но ведь ты действуешь ради других, гораздо более важных, о которых предпочитаешь не говорить. – Она сказала это, ибо ей претила мысль, что он – посредственность и лишен высшего честолюбия.

Муж слушал ее пораженный. Но он не ответил, он был смущен, ему не хотелось огорчать ее, ибо он не видел в ней бывшего душевного здоровья. Жанна не считала его достойным обнять ее; но в том, что касается их дома, они должны по-прежнему доверять друг другу. Она сказала:

– Иначе и быть не может, Францией должен в конце концов править протестантский государь. Мы – самые решительные, ибо исповедуем истинную веру. А у них там только эта старуха с прогнившей бледной плотью, она-то ни во что не верит!

– Кроме астрологии, – поддержал он Жанну, довольный, что хоть в чем-то они сошлись. И добавил: – Но у нее три сына!

– Она родила их слишком поздно, а до того была долго бесплодна, – и ты только посмотри на этих трех, которые живы! – уверенно продолжала Жанна. – Старший-то уже успел умереть, он умер шестнадцати лет от роду и королем был всего семнадцать месяцев. Его брат, Карл, правит на несколько месяцев дольше, а глаза у него такие, точно ему сто лет.

– После него останутся еще двое, – заметил супруг.

– Все равно мать уморит их. Эта женщина даже не взглянет на ребенка, когда ребенок входит в комнату. Для нее королевство существует лишь до тех пор, пока она сама жива. Если бы она веровала, то понимала бы, что, ниспослав ей детей, десница господня благословила ее плоть и кровь не только на сегодня и на завтра, а на веки веков!

Жанна д'Альбре произнесла эти слова кротко, но решительно. Супругу стало не по себе. Да, Жанна – необыкновенная женщина. Чтобы снова почувствовать твердую житейскую почву под ногами, он сказал:

– Тебе следовало бы напомнить мадам Екатерине, что покойный король обручил нашего сына с их дочерью.

– Она мне об этом сама напомнит, – ответила Жанна. – А я еще подумаю, не слишком ли мой сын хорош для принцессы из их угасающего рода.

Наконец Антуан рассердился:

– На тебя не угодишь, покойный король был здоровяк, он погиб на турнире. Валуа не виноваты, если какая-то Медичи плохо растит их детей.

– Не забудь, кстати, и о постыдных нравах, которые она привила этому двору! – заметила Жанна.

Хотя муж и чувствовал, что гроза приближается, он не мог скрыть своих чувств. На него нахлынули воспоминания о тех знаках благосклонности, которыми его дарили женщины при этом дворе; невыразимое блаженство охватило все его существо, и это отразилось на его лице.

А Жанна, за мгновение перед тем столь сдержанная и благоразумная, вдруг потеряла всякую власть над собой, ее обличающий голос загремел:

– Эти католики – идолопоклонники, они любят только плоть! Чисты и строги лишь приверженцы истинной веры, им даны огонь и железо, чтобы искоренять всякую гниль.

Явись, Господь, и дрогнет враг

Может быть, ее голос слышали в прихожей; во всяком случае, дверь распахнулась, вошли несколько протестантов и возвестили, что прибыл адмирал Колиньи, он поднимается по лестнице, идет сюда, вот он. Все расступились, протестантский полководец вошел, прижал руку к груди в знак приветствия. Даже король Наваррский склонил голову перед старцем, а тем самым и перед партией, вождем которой был Колиньи. И если другие поддерживали ее лишь ради собственных выгод, в этом старце чувствовалась бескорыстная суровость мученика, о чем говорил и его неукротимо упрямый, скорбный лоб.

Жанна д'Альбре обняла адмирала. Казалось, именно его не хватало ей, чтобы отдаться вполне своему воодушевлению. Она позвала всех своих людей, обоих пасторов, сына и дочь. Подвела сына к адмиралу, тот положил на голову мальчика правую руку и не снимал до тех пор, пока говорил первый пастор. А пастор этот совершенно ясно и недвусмысленно возвещал наступление царствия Божия, и притом вскорости. Оно уже при дверях! Все почувствовали его близость, было ли это высказано вслух или только разумелось. В битком набитой комнате люди толкали друг друга, каждый старался пробраться вперед, чтобы схватить, чтобы овладеть всей силой, всем царством, и все это во славу Божию.

Второй пастор запел: «Явись, Господь, и дрогнет враг». Все подхватили – проникновенно и с упоением, готовые бесстрашно принять смерть и заранее уверенные в своей победе. Ибо где же они поют так громко, где защищают так открыто свою веру? Да в доме самой королевы Франции! Им было дано дерзнуть, и они дерзнули!

Колиньи обеими руками высоко поднял принца Наваррского над молящимися, он дал ему на всю жизнь надыхаться воздухом того, что перед ним свершалось, почувствовать, каковы все эти люди. Ведь каждый был здесь героем благочестия и торжественно исповедовал свою веру. Генриха охватило глубокое волнение, его душа рвалась к ним, он видел, как плачет его дорогая мать, и тоже плакал. Отец же, напротив, опасаясь последствий этого великого праздника, приказал запереть все окна; поэтому в комнате стало нестерпимо душно.

Все это было, конечно, весьма опасным нарушением дозволенных границ; Жанна и сама признала, что зашла слишком далеко, – супругу не пришлось даже особенно усердствовать, доказывая ей это. Тогда Жанна решила как можно больше уступать королеве Екатерине, ибо едва ли можно было надеяться, что Медичи не узнает о тайном сборище. Когда, однако, обе добрые подруги снова встретились, выяснилось, что хозяйка решительно ничего не знает – или предпочитает не знать о предосудительном поведении гостыи. Вместо того чтобы как-то выразить Жанне свое недоверие, королева-мать стала просить о помощи против врагов.

Самую большую опасность для правящего дома представляли в ту пору Гизы, их Лотарингская ветвь, которая притязала на французский престол. Тут Жанна поняла, что в сравнении с ними маленькое семейство Бурбонов считается безвредным. Эти герцоги выказывают себя гораздо католичнее королевы, кроме того – они богаты. Все это благоприятствует их намерениям; и Гизы уже начали похвально перед народом Парижа, что они, мол, и есть спасители королевства. А бедных королей Наваррских здесь никто не знает, они прибыли из отдаленной провинции, да и провинция эта еретическая – там постоянный очаг восстания. При виде Жанны д'Альбре мадам Екатерина каждый раз начинала благодушно мурлыкать, как старая кошка, а Жанна чувствовала себя униженной, хотя и таила это про себя.

Она была умна и шла на все, чего требовала старая кошка. А та просверлила дырку в стене своего кабинета, чтобы видеть и слышать, не злоумышляют ли против нее Антуан де Бурбон и кардинал Лотарингский. Жанне приходилось вместе с ней подслушивать и подглядывать, хотя один из тех, за кем она шпионила, был ее собственный муж. Но дело было вовсе

не в нем, его даже не боялись: именно это казалось Жанне особенно унижительным, однако она и виду не подавала. Страшилась старая кошка только главы дома Гизов, богатого кардинала, который мог подкупить всех ее слуг и даже самого Наварру: достаточно было посулить Антуану испанские Пиренеи – это же ничего не стоило, – а потом не дать.

Екатерина, а с ней и Жанна разгадали немало козней, чинимых кардиналом, который принимал многих господ в комнате Антуана, считая, что это вызовет меньше всего подозрений. Жанна только диву давалась – до чего же легкомыслен ее супруг! Он, видимо, даже не все понимал, о чем говорилось в его присутствии, и через дырку в стене она видела по его лицу, что думает он только о даме своего сердца, – лишний повод не делать ему никаких намеков и не выдавать ему своей подружки Екатерины. Она даже решила любой ценой не допускать себя до открытого столкновения с его возлюбленной. Так изо дня в день упражнялась Жанна в молчаливом самообладании: интересы ее сына и религия требовали, чтобы она поддерживала дружбу со старой кошкой.

Однако то, чего Жанна так страшилась, все же произошло, – эта дама, супруга маршала, с ней наконец встретилась; мало того – осмелилась ей представиться и даже, видимо, рассчитывала на то, что Жанна ее поцелует. И тут, несмотря на все благие намерения, королева Наваррская не выдержала. Ее муж, единственный мужчина, за чью любовь она боролась, лежал в объятиях этой женщины, на ее обнаженной груди, а Жанну каждый час его любви к другой делал все старее и немощнее. С возмущением уставилась покинутая супруга на хорошенькое, даже пленительное личико дамы. От сознания, что вся земная жизнь – сплошной обман, комок подступил ей к горлу. Если Жанна даже не хотела этого – она против воли поворотилась к даме спиной.

Однако супруга маршала не намерена была терпеть подобное обхождение и решила не отступать. В то время, когда королева Наваррская здоровалась с другими, дама стояла рядом, лицо ее уже не было пленительным, и она сказала достаточно громко, чтобы все услышали:

– Ты ко мне задом повертываешься и поцеловать не желаешь? Ну что ж! Клянусь святым Иоанном, тем меньше поцелуев ты получишь от своего муженька; все получу я!

Жанна окружила себя плотным кольцом приятельниц, чтобы без урона выбраться отсюда. Соперница была рослая, решительная особа, и для королевы столкновение могло кончиться плохо. Несколько дворян, прислушивавшихся к их ссоре, охраняли Жанну во время ее бегства.

Однако лишь позже поняла она, что этот случай грозит ей большими неприятностями. Никогда еще она не видела своего мужа в таком гневе. Антуан заявил, что он ее бросит, заточит, и Жанна знала, что подстрекает его не только любовница. Подглядывая через дыру в стене, Жанна убедилась, что кардинал Лотарингский вертит беднягой Антуаном как ему угодно и что его главная цель – устранить Жанну; тогда у дома Гизов не будет больше соперников, а протестанты лишатся своей королевы.

Жанна отлично понимала, что спасти ее может только мадам Екатерина. Благодаря дырке обе узнали, что нашептывают Антуану его друзья: ему-де следовало бы жениться на юной Марии Стюарт. Мария была вдовой старшего сына Екатерины Медичи – одного из ее четырех сыновей, которые по очереди носили титул короля, но всякий раз правила за них она сама. Екатерина, как и Жанна, считала, что этому союзу необходимо помешать. Ей лично мужчина в доме не нужен, пусть даже такая тряпка, как Антуан. Обе женщины были на его счет одинакового мнения.

Это же обстоятельство заставило Екатерину вспомнить о другом плане – о предполагаемом обручении ее дочери Марго с маленьким Генрихом Наваррским. Медичи прямо заявила: если взять в дом и навсегда связать с ним принца крови и ближайшего родственника, это принесло бы королевству истинную пользу. Придворный астролог открыл ей, что такой брак был бы одним из самых удачных ее деяний. Но к сожалению, пока еще слишком рано, уж очень

оба юны. И в подтверждение своей искренности королева-мать заключила Жанну в объятия; однако от объятий старой кошки Жанну охватила дрожь. Ей невольно вспомнились кое-какие слушки, ходившие относительно ее подруги: мадам Екатерина будто бы отравила некоего вельможу, чтобы предоставить его доходы другому. В то же мгновение Екатерина сказала, сжав Жанну покрепче:

– Ради своих друзей я на все пойду.

Быть может, это было сказано случайно. Все же слова Екатерины еще раз показали матери Генриха, сколь важно любой ценой сохранить благосклонность Екатерины. Однако все в душе Жанны возмущалось против ее собственных решений, она не умела долго оставаться послушной велениям разума. Как бы глубоко ни прятала она свои истинные чувства, правда вдруг прорывалась наружу и вещала во всеулышание. Тогда в тоне хилой королевы Наваррской появлялись властные и торжественные нотки, ибо говорила она от имени истинной веры. Даже во время их первого разговора она уже предъявила свои требования, позабыв про все зловещие слухи, ходившие насчет мадам Екатерины.

– Марго должна принять протестантство! Иначе мой сын не может на ней жениться!

Жанна не знала, как Медичи отнесется к ее заявлению; но та по-прежнему выказывала дружелюбие, она даже стала как будто еще искреннее. Призналась, что и сама подумывает, не перейти ли ей со всеми своими детьми в новую веру! Может быть, протестанты все же окажутся сильнее и с их помощью ей удастся свалить Гизов. О самой вере и речи не было, и Жанна укорила ее за это; однако проповедь, которую королева Наваррская тут же произнесла, на ее подружку Екатерину ничуть не подействовала. Медичи попросту возразила, что лучше не открывать своих карт и пусть пасторы ее подруги Жанны продолжают проповедовать при закрытых дверях.

Затем она распахнула одно из окон и подозвала Жанну. В саду играли Марго и Генрих. Он раскачивал качели, на которых сидела девочка; сегодня на ней взамен роскошной одежды было лишь платье из легкой ткани, и оно развевалось при каждом взмахе доски. Генрих присел на корточки и, когда она пролетала над ним, крикнул:

– А я вижу твои ноги!

– Нет, не видишь, – крикнула сверху Марго.

– Как солнце на небе! – настаивал он.

– Направда.

– И они ужасно толстые!

– Сейчас же останови качели!

Но он не послушался, и качели остановились сами. Марго слезла, она сначала оперлась на его руку, затем что есть силы ударила его по лицу.

– Я это заслужил, – сказал он и сморщился от боли. Потом тут же схватил край ее платья и поцеловал.

– Ну вот, опять... – сердито заявила она. – Ты всегда такой учтивый, такой пайнык, мне это не нравится. Сегодня ты в первый раз говоришь со мной как надо.

– Потому что я теперь знаю наверное – у тебя ноги как у всех девочек, только покрасивее.

– Нет, ты еще не знаешь. Вот погоди, пока мы подрастем.

Она смолкла и лишь глядела на него, шевеля высунутым между губ розовым кончиком языка. Лицо ее своими красками напоминало персик, нарисованный на фарфоре, не настоящий. Мальчуган никак не мог понять – отталкивает она его от себя или же подзадоривает. Желая наконец это выяснить, он обнял ее и насильно поцеловал. У Марго дух захватило, и она засмеялась счастливым смехом.

– А ты умеешь целоваться лучше, чем...

– Чем кто? – спросил он и топнул ногой.

– Никто, – обиженно ответила она.

Наверху мадам Екатерина захлопнула окно и тем помешала Жанне окликнуть сына.

– Наши дети сговорятся, – заметила толстуха с обычной добродушной иронией. Тощая страдальчески побледнела, но все же промолчала.

После этого случая Жанна крепко взялась за сына, как делала, когда они еще были дома. Давно уже он не слышал нравоучений, а теперь мать ежедневно внушала ему: пусть не забывает, они здесь воинствуют на вражеской земле, идут против всех за веру; они должны твердо отстаивать ее и распространять, глумиться над обедней и над изображениями святых и многое в том же роде. Генрих верил в свою мать; все, о чем она говорила, вставало перед ним в ярких образах. Насчет Марго она не проронила ни слова: верно, ей было стыдно той сцены, которую они обе подглядели, и она сердилась на Екатерину, зачем та показала ей.

И все-таки Генрих понял, нечистая совесть открыла ему, чем была недовольна мать; и вот однажды мальчик заявил Маргарите, притом у него лицо было такое, что она испугалась: о ее ногах больше не может быть и речи, никогда; их будут поджаривать в аду. Она заявила, что не верит этому, но на самом деле перепугалась и пошла спросить мать.

Первая разлука

Мадам Екатерина узнавала другими путями о происках Жанны. Нетрудное дело – ведь ее маленький сын так несдержан. Себя-то протестантка кое-как принуждала к терпению и скрытности, но Генриха она и не старалась обуздать. Она полагалась на то, что истина, исходящая из уст младенцев, свята и неприкосновенна.

Генрих с радостью угождал матери, особенно в таком веселом занятии, как глумление над католиками. Он сделался главарем целой шайки мальчишек и всем внушал, что нет ничего смешнее монахов да епископов. Скоро в этой шайке оказалось все молодое поколение двора, и даже королева-мать не знала истинных размеров заговора, ибо кто осмелился бы открыть ей, что в нем замешаны ее собственные сыновья? Сначала Генрих завербовал младшего из трех принцев, и тот стал участвовать в новой забаве: они рядились священниками и в таком виде бесчинствовали на все лады – врывались самым неучтивым образом на важные совещания, мешали влюбленным парам да еще требовали, чтобы целовали их кресты. Для них это был как бы веселый карнавал, хотя время для карнавала стояло самое неподходящее – осень.

Младший принц – д'Алансон – оказался наиболее предприимчивым – правда, первый и удирал. Однако и второй, Генрих, именуемый монсеньором, пожелал участвовать в дерзких проказах; а под конец не утерпел и сам Карл Девятый, христианнейший король, глава всех католиков. Вырядившись епископом, он лупил своим посохом придворных кавалеров и дам, чему они из верноподданнических чувств не смели противиться. Смеяться этот мальчик не умел, только лицо его бледнело да косой взгляд становился еще недоверчивее, и он так возбуждался, что под конец ему делалось дурно. А кто в простоте душевной радовался, глядя на все это? Ну конечно же Генрих Наваррский.

Придворные называли юных заговорщиков «шалунишками» и делали вид, будто это лишь милые шутки. А мадам Екатерина пребывала в неведении, пока однажды у ее двери не раздался внезапный шум, и она в первую минуту решила, что ей пришел конец. У нее находился лишь один итальянский кардинал, и тот уже озирался, ища, куда бы спрятаться. Но тут дверь распахнулась, и появился осел, на нем ехал Генрих Наваррский, одетый в пурпур и со всеми знаками высокого церковного сана. За ним следовало много молодых господ постарше с подвязанными к животу подушками, в одеяниях всевозможных монашеских орденов; они прищипывали своих серых скакунов и галопировали по залу, распевая литании. Пешие вспрыгивали друг другу на спину, но не всем удавалось удержаться, некоторые падали, увлекая за собой мебель, и в зале с паркетом гулко отдавались крики боли, треск дерева, цоканье копыт и взрывы хохота.

Вначале смеялась и королева-мать – уж по одному тому, что это оказались не убийцы. Однако, когда она в конце концов узрела среди озорников своих собственных сыновей – принцы охотно ускользнули бы от ее внимания, – терпение Екатерины лопнуло. Все же она этого не показала, она притворилась, будто сердится для виду, с чисто материнской строгостью стала уговаривать всех мальчишек, что святыню следует почитать, пусть поиграют во что-нибудь другое. Принцам она не выговаривала особо. Только маленькому Наварре добродушно закатила оплеуху.

Екатерина узнала истинный образ мыслей своей подруги Жанны еще осенью, когда они вместе просверлили дырку в стене. Теперь ей важно было одно: в какой мере протестантка может стать опасной; но это обнаружилось лишь в январе, когда Жанна совершенно открыто поехала в Париж, чтобы оживить религиозное рвение своих единоверцев и подстрекнуть их к бунту. Екатерина разрешила им проповедовать открыто, и королева Наваррская сейчас же злоупотребила дарованной ей свободой. Медичи и тут промолчала, оставила Жанну своей наперс-

ницей; она, как обычно, предпочитала ждать, пока события сами не придут к неизбежной развязке. Но, даже решив, что эта минута наступила, Екатерина предпочла остаться в тени; бедный Антуан передал ее приказ, воображая, будто это его собственный. Жанне пришлось покинуть двор, и что хуже всего – без сына.

Отец оставил мальчика при себе, чтобы помешать влиянию матери и сделать из него доброго католика. Еще и двух лет ведь не прошло, как отец хотел сделать из него доброго гугенота. Генрих отлично помнил, но сказать об этом вслух было бы слишком опасно и для отца, и для него самого. Он понимал уже сейчас, что многое в жизни решают более сильные побуждения, чем порыв искреннего чувства. Когда его мать Жанна просталась с ним, он плакал – ах, если бы она знала, как много дорогого он оплакивает! Мальчику было жаль ее, самого себя ему не было так мучительно жаль, как ее. Она ведь всегда являлась для него воплощением его высшей веры: на первом месте была мать, потом религия.

Разрыдалась и Жанна, целуя сына, ей разрешили поцеловать его только один раз, и уже пора было ехать в изгнание; Генриха же вопреки ее воле должны были отдать в католическую школу. Правда, Жанна взяла себя в руки и строго-настрого запретила ему ходить к обедне, – никогда, иначе она лишит его права на престол. Он обещал ей, и горько плакал, и решил служить только добру, – но не потому, что так безопаснее, теперь он уже не искал безопасности. Его дорогая мать уезжала в изгнание за истинную веру. А отец отверг эту веру, – вероятно, и он выполнял свой долг. Родители разлюбили друг друга, они стали врагами, каждый из них боролся за сына, и Генрих чувствовал, что под этим кроется много загадочного. Будь у мадам Екатерины в самом деле горб и когти, красные глаза и сопливый нос, тогда он понял бы. А так – стоит растерянный маленький мальчик, один, перед ненадежным, необъяснимым миром, а ведь ему самому предстоит вот-вот вступить в этот мир!

Его отдали в Collegium Navarra, самую аристократическую школу города Парижа; брат короля, тот, кого именовали монсеньором, и еще один их сверстник, Гиз, также посещали ее. Оба были тезками принца Наваррского, и их звали «три Генриха».

– А я опять не был у обедни, – с гордостью заявил принц Наваррский двум своим товарищам, когда они встретились наедине.

– Да ты спрятался!

– Это они сказали? Ну, так они врут! Я им напрямик выложил все, что думаю, и они испугались.

– Молодец! Валяй и дальше так, – посоветовали ему товарищи, а он в своем рвении и не заметил, что они ведут с ним нечестную игру. Генрих предложил:

– Давайте нарядимся опять, как тогда, напялим епископские тиары и проедемся на ослах.

Для виду они согласились, но выдали его духовным наставникам, и в следующий раз мальчика поролли до тех пор, пока он не пошел вместе со всеми к обедне. Пока на том дело и кончилось: Генрих слег, оттого что призывал к себе болезнь и страстно желал заболеть.

У его постели сидел в те дни некто Бовуа – единственный человек, которого мать оставила при нем. Этот Бовуа поспешил перейти к врагам своей госпожи, и Генрих понял, что поркой он обязан не только проискам своих друзей – маленьких принцев, – его выдал и этот шпион.

– Уходите, Бовуа, я не хочу вас видеть.

– И вы не хотите прочесть письмо вашей матери, королевы?

Тут мальчик, к своему великому изумлению, узнал, что его дорогая матушка выражает предателю свое удовлетворение и благодарность, а тот сообщает ей обо всем, что здесь происходит. «Оказывайте моему сыну поддержку в его сопротивлении и блюдите его в истинной вере! – писала Жанна. – Вы правы, что по временам доносите на него ректору и его бьют плетью; он должен приносить эту жертву, лишь благодаря ей можете вы оставаться подле него, а я могу извещать моего дорогого сына о том, что я предпринимаю».

Затем следовало еще многое, но Генриху необходимо было сначала хорошенько разглядеть человека, сидевшего у его постели; мальчик ожидал открыть в нем невесть что, а на деле оказалось – просто довольно полный господин с широким лицом и приплюснутым носом. Было также ясно, что он сильно пьет; по его внешности Генрих никогда бы не заподозрил, что это человек необычный. А теперь оказывается, он вот какой изворотливый да хитрый, а на вид такой немудрящий, и все-таки верный слуга!

Господин де Бовуа лучше читал по лицу принца, чем тот по его лицу. Поэтому де Бовуа кротко сказал, и его тусклые глаза блеснули:

– Все нет нужды открывать всем и каждому, кто ты.

– А вы небось и сами не знаете, – нашелся восьмилетний мальчик.

– Главное – всегда оставаться там, где хочешь быть, – отвечал пожилой придворный.

– Это я запомню, – начал было Генрих и хотел уже добавить: «Но вам доверять больше не буду» – однако не успел: Бовуа внезапно отобрал у него письмо матери – неуловимым, до жути ловким движением; листок бумаги исчез в один миг, а воспитатель продолжал уже совсем другим тоном:

– Завтра вы встанете и по доброй воле пойдете к обедне, ибо сейчас вы еще слабы и едва ли будете в состоянии выдержать плети, а ничего иного вы и не заслуживаете, раз вы отказываетесь повиноваться.

Бовуа выражался так многословно и так тянул, что Генрих все же в конце концов успел слышать крадущиеся шаги за дверью возле своей кровати. Он не обернулся, но притворно заплакал; они ждали, пока шпион не удалится. Тогда доверенный Жанны торопливым шепотом сообщил мальчику остальное содержание письма, опасаясь, как бы им опять кто-нибудь не помешал.

Оказывается, Жанна д'Альбре затеяла открытую и всеобщую междоусобную войну – ни больше ни меньше. Своего супруга она уже не щадила и потому не щадила никого. Ей нужны были люди и деньги для ее зятя Конде, знатного дворянина, не делавшего различия между своей личной властью и религией. Но Жанне было все равно – она решила, что именно он поведет протестантские войска. В Вандомском графстве, где она пребывала в изгнании, Жанна подвергла разграблению церкви. Чтобы добыть денег, она не гнушалась осквернением могил – даже тех, где лежала родня ее мужа! Ничто ее не страшило, ничего для нее не существовало, кроме ее решений.

Казалось, все это она сама говорит сыну, он слышал возле самого уха ее страстный голос, хотя это был только торопливый и сбивчивый шепот чужого человека. Генрих вскочил с постели, он сразу выздоровел. И в дальнейшем мальчик опять терпеливо сносил всевозможные страдания, лишь бы они спасали его от хождения к обедне. А частенько он обо всем забывал, становился весел, ибо таким был по природе, шумно возился с другими мальчишками, уже не замечая высоких и мрачных стен школьного двора, чувствовал себя свободным и победителем, действительно верил в то, что скоро-скоро к нему явятся враги и смиренно будут просить его – пусть замолвит за них словечко перед его матерью, чтобы она простила их.

Однако вышло иначе. Жанна проиграла и была вынуждена бежать, но сын ее не дождался конца затеянной ею борьбы: первого июня Генрих сдался – он упорствовал с марта. Отец сам повел его к обедне, сын поклялся остаться верным католической религии, и взрослые рыцари ордена целовали его как своего соратника, чем он, несмотря на все, очень гордился. А немного дней спустя его дорогая мать исчезла, поспешно скрылась. Бовуа с укоризной сообщил ему об этом, хотя еще до того, как все рухнуло, сам дал Генриху совет снова стать правоверным католиком. Ускользя от врагов, Жанна из северной провинции за Луарой бежала на юг и добралась до границ своей страны, причем ей все время грозила опасность попасть в руки генерала Монлюка, которого Екатерина отправила в погоню за королевой Наваррской.

С каким замиранием сердца следил за ней сын во время этого путешествия! Ведь он ее ослушался! Он ее предал! Не оттого ли все их несчастья? Ей он писать не решался. Одному из приближенных матери он слал письмо за письмом, это были вопли смятения и боли: «Ларшан, я так боюсь, что с королевой, моей матушкой, случится в пути что-нибудь недоброе».

Так бывало днем, но ведь ночью ребенок спит и ему снятся игры. Да и в дневные часы он иногда обо всем забывал – и о несчастьях, и о своем ничтожестве в этом мире. И он делал то, чему никто и никакое сцепление обстоятельств не могли воспрепятствовать: он становился коленом на грудь побежденного во время игры товарища. Потом поднимал его на смех и отпускал. Это было ошибкой: прощенные ненавидят сильнее, чем наказанные, однако Генрих до конца своей жизни так этого и не понял.

Среди товарищей он не пользовался особой любовью, хотя ему удавалось вызывать у них и страх, и смех. А он домогался их уважения, надеялся поразить их своими шутками, совсем не замечая при этом, что, когда они смеялись, они переставали уважать его. Он изображал собаку, либо, смотря по их желанию, швейцарца, либо немца – междоусобная война привлекала в Париж чужеземных ландскнехтов, и Генрих видел их. Однажды он крикнул:

– Давайте сыграем в убийство Цезаря! – и сказал Генриху-монсеньору: – Вы будете Цезарем. – И Генриху Гизу: – А мы будем убийцами. – И пополз по земле, показывая, как надо подкрадываться к жертве. А жертву охватил ужас, монсеньор закричал и бросился наутек, но оба преследователя уже схватили его.

– Что ты делаешь? – вдруг спросил сын Жанны. – Ведь ему больно.

– А как же я его иначе убью? – возразил Гиз. Однако мгновенного промедления было достаточно, чтобы Цезарь взял верх, он стал немилосердно лупить Гиза, и теперь уже Генриху пришлось удерживать его, чтобы он не прикончил своего убийцу.

Принц Наваррский предпочел бы опять вернуться к шутке. Но те двое не понимали, что можно сражаться и вместе с тем относиться к этому легко. С тупым и угрюмым упорством они рычали: «Убей его». Генриха же увлекала только игра.

Он был ниже ростом, чем большинство его сверстников, очень смугл, а волосы русые, лицо и глаза живее, чем у них, и на выдумки он был проворнее. Иной раз все они обступали его и разглядывали, словно это было какое-то диво, – ученый медведь либо обезьяна.

Несмотря на всю пылкость своего воображения, он обладал способностью вдруг видеть правду, а они недоуменно переглядывались, они не понимали, что он говорит, в его речи еще слишком преобладал родной говор. Остальные два Генриха заметили, например, что слово «ложка» он употребляет в мужском роде, но сказать ему не сказали, а сами начали повторять при нем ту же ошибку. И он чувствовал, что есть у них всех какое-то преимущество перед ним. В те времена Генриху часто снились сны, но о чем? Утром он все забывал. И лишь когда ему стало ясно, что его мучит тоска, ужасная, нестерпимая тоска по родине, он понял и то, что вырастает перед ним в каждом сновидении: Пиренеи.

Когда умер отец

Он видел Пиренеи, покрытые лесами до самого неба, ноги несли спящего, точно ветер, и на вершинах он оказывался огромным, одного роста с горами. И он мог наклониться до самого замка По и поцеловать в губы свою дорогую маму. От тоски по родине он опять заболел, как перед тем из-за обедни. Сначала решили, что у него оспа, но оказалось – не оспа. Тогда отец увез его в деревню: Антуан Бурбон снова отправился в поход, и его маленькому сыну незачем было оставаться одному в Париже. Однако заброшенности в деревне Генрих боялся не меньше, чем одиночества в Париже, он умолял отца – пусть возьмет его с собою в лагерь. Антуан этого не сделал уже потому, что там у него была возлюбленная.

Он уезжал верхом, и Генрих проводил его немного на своей лошади. Мальчик не в силах был с ним расстаться, никогда еще он так не любил этого статного мужчину с бородой и в доспехах! Ведь это его отец: пока они еще вместе, – ну до перекрестка, ну до ручья! «Я обгоню тебя, давай поспорим? Я знаю короткую дорогу и за лесом опять окажусь с тобой рядом!» Так он хитрил до тех пор, пока отец, рассердившись, не отправил его домой. Но не прошло и полутора месяцев, как Антуана не стало. Листва на деревьях засохла, и к его сыну прискакал гонец с вестью, что король Наваррский убит.

Принц, его сын, чуть не вскрикнул. Но вдруг, решительно подавив рыдания, спросил:

– А это правда?

Ибо теперь считал уже за правило, что люди его обманывают и ставят ему капканы.

– Ну-ка, расскажи, как было дело.

С недоверием слушал он сообщение о том, что король, находясь в окопе, велел принести себе туда обед. Паж, наливавший ему вино, уже был ранен пулей. Другая поразила насмерть капитана, который стоял неподалеку на открытом месте и справлял нужду. Надо же было королю стать на то же место – и, конечно, следующая пуля угодила в короля, когда он мочился.

Только тут Генрих дал наконец волю слезам. Он понял, что это правда, потому что узнал беззаботную храбрость отца. Мальчика терзала сердечная боль, зачем сам он был в это время далеко, зачем не смог участвовать в той битве и делить с отцом опасность, как делил ее этот слуга, которого отец любил.

– Рафаил! – воскликнул он, обращаясь к слуге. – Король меня любил?

– Когда он скончался от раны, – было это на корабле, который вез его в Париж...

– Кто находился при нем? Я хочу знать!

О любовнице, на чьих руках умер Антуан, слуга умолчал.

– Я один находился подле него, – заверил он принца. – Когда государь мой почувствовал, что дело идет к концу, – а было это в девять часов вечера, – он схватил меня за бороду и сказал: «Служи хорошенько моему сыну, а он пусть хорошенько служит королю!»

Генрих все это ясно увидел перед собой, он перестал плакать и сам схватил гонца за бороду. Ему казалось, что нет ничего прекраснее, чем вот так умереть за короля Франции, как умер его отец Антуан.

Память об отце определила два ближайших года жизни маленького Генриха. Матери своей он за все это время так и не видел. Жанне неотступно угрожал Монлюк; этим постоянным давлением на нее мадам Екатерина достигла того, что их отношения стали более сносными. Подобные дела Медичи умела улаживать, ибо ей неведома была та страстная ненависть, которая кипела в сердце Жанны д'Альбре; Екатерина действовала просто, сообразуясь с обстоятельствами. Самым сильным ее врагом по-прежнему оставался дом Гизов, протестанты были пока обезврежены. Тем более могла она воспользоваться ими для своих целей и прежде всего – их духовной предводительницей. Тщательно все обдумав, мадам Екатерина так и решила.

После смерти Антуана Бурбона юный принц Наваррский сделался, как и отец, губернатором провинции Гиеннь и адмиралом, сто телохранителей получил он, однако вынужден был остаться при дворе. Его заместителем на юге назначили, разумеется, Монлюка, того самого Монлюка, на которого так обижалась Жанна. За это ей даровали право воспитывать своего Генриха, как ей захочется, хотя сама она не могла при этом присутствовать. Она сейчас же вернула ему в качестве учителя честного старика Ла Гошери, а общее руководство принцем было доверено хитрецу Бовуа, и к обедне можно было уже не ходить. Генрих снова оказался протестантом, но это его больше не трогало.

Он сказал себе: «Я родился католиком, моя дорогая мать сделала из меня гугенота, им я и останусь, хотя отец меня опять посылал к обедне, вернее – посылала мадам Екатерина, и рыцари ордена целовали меня. Если б я теперь стоял на поле боя, среди сторонников истинной веры, как мне и подобало бы, – тут у мальчика заколотилось сердце, – рыцари уже не целовали бы меня. Наоборот, мне пришлось бы, пожалуй, их просить об этом, ибо они могли бы победить нас, и тогда я опять стал бы католиком. Что ж! Таков этот мир».

Но еще сильнее забилося у него сердце. «Нет! – подумал он. – Победить или умереть». Этот девиз, «*aut vincere aut mori*», он написал даже на билетике какой-то лотереи, и мадам Екатерина спросила его, что эти слова означают. Тогда он ответил, что смысла их не знает.

Странное посещение

Генриху шел одиннадцатый год, когда его взяли в большое путешествие короля Карла Девятого по Франции.

Королева-мать решила, что всему королевству пора лицезреть ее сына и что первый принц крови, Генрих Наваррский, должен везде показываться в его свите, хоть и протестант, а все же только вассал. Кто опять перебежал дорогу хитроумной толстухе и расстроил ее планы? По крайней мере вообразил, что расстроил? Жанна д'Альбре; она появилась внезапно. В город, где тогда находился двор, она въехала, точно какая-нибудь независимая государыня, при ней триста всадников и не меньше восьми пасторов.

С первого же дня накинута она с упреками на мадам Екатерину: та до сих пор не выполнила своих обещаний. Из-за этих споров Жанна только и успевала, что помолиться вместе с сыном. Ведь она оставила его своей доброй подруге, как залог их соглашения, а Монлюк запретил в Беарне проповеди, и поговаривают, будто протестантам угрожает еще кое-что похуже, а именно – встреча Екатерины с Филиппом Вторым Испанским, этим злым демоном юга и архиврагом истинной веры. И вот Жанна потребовала правды. Жанна заявила о своих правах.

Однако никто не выказывал большего равнодушия к любым договорам, чем мадам Екатерина, когда уже не видела в них пользы для себя. И она, по своему обыкновению, лишь тихонько засмеялась:

– Милая подружка, теперь вы здесь, вы моя, а мне именно этого и хотелось.

Так оно и было на самом деле, ибо Филипп довел до ее сведения, что отправит послов по ту сторону Пиренеев не раньше, чем королева Наваррская исчезнет из своих родных мест. Поэтому Жанна почти ничего не добилась – сунули ей малую толику денег на жизнь, на ее всадников да пасторов, – и уезжай себе обратно в графство Вандом, как два года назад. Двор же продолжал путешествие на юг.

Жанна простить себе не могла, что попала в ловушку. Однажды ее сыну пришлось ночевать в нижнем этаже постоянного двора, так как здешний замок оказался недостаточно просторен для столь многолюдного общества. Вдруг среди ночи мальчик вскочил. Зазвенело стекло, раздался стук упавшего тела. Генрих изо всех сил навалился на какого-то человека, пока тот еще не успел подняться, и принялся громко звать на помощь. Появились огни и люди, неизвестному изрядно намяли бока. Когда Генрих разглядел незнакомца, то замолк, пораженный. Мальчик сразу понял, кто его прислал и зачем. Но поостерегся признаться хотя бы одному человеку, что его дорогая матушка старалась похитить своего сына. Ни разу не проговорился и его воспитатель Бовуа. Оба печально поглядывали друг на друга, иногда старший укоризненно качал головой, а младший виновато опускал ее.

Есть в Провансе одно местечко, называется оно Салон; там жил в те времена некий примечательный человек, и Генриху Наваррскому довелось узнать его. Было раннее утро, одиннадцатилетний мальчик стоял посреди комнаты голышом, камердинер собирался подать ему сорочку. Тут вошел Бовуа, а с ним тот человек. «Что нужно Бовуа? – думает Генрих. – Может быть, это лекарь? Но я ведь не болен».

А тот человек спрашивает:

– Где же принц? – Останавливается в пяти шагах от него и не видит, хотя Генрих совсем голый. Бовуа не отвечает, он ждет почтительно, даже, можно сказать, робко, если Бовуа способен быть робким. А слуга отступает в угол и уносит с собой сорочку.

Мальчик испытывает странное чувство – он одинок, раздет, виден весь – все недостатки, все дурное. Он начинает бояться, как бы это не кончилось поркой! О ты, старик, такой измож-

денный, седые волосы как сталь, а щеки точно ямы, ведь вот же я, взгляни на меня и потом уйди!

А старик давно его видит, изучает тело и лицо маленького человека, только никто этого не знает: его зрение затянута пеленой, он видит из дали гораздо более далекой, чем пять шагов. К тому же незнакомец уклоняется в сторону, делает нелепые телодвижения, прыгает вперед, назад, толкает Бовуа, просит извинения, все время что-то бормочет и слишком поздно догадывается поклониться. Он неловко размахивает своей огромной шляпой, она выскальзывает у него из рук, летит прямо под ноги принцу. И тут Генрих совершает нечто, не соответствующее его сану. Неизвестно, почему он поднимает шляпу и подает тому человеку, а тот самое большее лекарь, хоть для лекаря слишком неловок.

И вот они стоят друг перед другом, тощий смотрит вниз, а малыш усиленно задирает голову, но тщетно; неуловим взор этого существа, он точно пелена, опущенная на щеки и шею, так что остается лишь туловище без головы, а вместо головы – завеса. Мальчику страшно, но боится он уже не порки.

Незнакомец перестал бормотать, он думает: «Что я говорю?» Он чувствует: «Это дитя, что-то еще не сбывшееся, беспредельное, ведь ребенок, хоть он и слаб, обладает большей силой и властью, чем те, кто уже много прожил. Он несет в себе жизнь, а потому он – велик. Только ребенок велик. Какое смелое лицо!» – говорит он себе в ту минуту, когда Генриху страшнее всего.

– Это он! – произносит незнакомец вслух, обращаясь к Бовуа, который ждет терпеливо. – Если Бог вам дарует милость дожить до тех пор – вашим государем будет король Франции и Наварры.

Вот и все, что он говорит вслух и, уже не делая попытки еще раз поклониться, идет к выходу. Бовуа распахивает перед ним двери.

– Благодарю вас, – говорит Бовуа. – До свидания, господин Нострадамус.

А Генрих чувствует, что незнакомец не из тех, с кем можно еще раз свидеться. Именно поэтому тот человек останется у него в памяти навсегда.

Встреча

Но Генриха и так повсюду донимали слухами и пророчествами. Невозможно было забыть происходившее в те дни. Куда бы ни приехал со своими протестантами принц Наваррский, ревнители истинной веры приветствовали его в необычайной потайности, расстроенные и встревоженные.

– Не ездите дальше, принц, оставайтесь с нами, скорее мы все до одного умрем, чем отдадим вас врагам. – И везде он слышал одно и то же.

Седовласый гугенот, которого внуки принесли к Генриху, поднял дрожащую руку и, благословляя его, произнес глухим и глубоким старческим голосом:

– Хвала Господу, что дал мне увидеть вас. Когда всех нас уничтожат, вы, государь, отмстите и поведете истинную веру к победе.

Потом раздались со всех сторон уже знакомые Генриху заклинания – пусть ради Господа Бога не ездит дальше.

Позднее Бовуа ответил на вопросы Генриха так:

– Не давайте себя запугать! Эти люди боятся? Тем ревностнее будут они служить нашей вере. Они ожидают всяких бед только оттого, что королева-мать решила встретиться с испанцами. Мы, однако же, знаем мадам Екатерину: она скорее схитрит, чем пойдет на кровавую резню.

– А если испанский дьявол ей прикажет? – заметил Генрих, даже не ожидая ответа, – так уверен он был в смертельной ненависти Габсбурга, которая есть и будет вовеки.

Бовуа попытался объяснить мальчику, что Екатерина, быть может, ничего страшного и не замышляет, а хочет лишь оправдаться перед всемирной католической державой, что не всегда посылала против протестантов войска, но иногда старалась поймать их в сети уступчивости. В худшем случае – она попросит у Филиппа помощи, на том, дескать, основании, что иначе ей не усмирить своих подданных-реформистов.

Тщетно старается Бовуа, доводы учителя не убеждают Генриха, его воображение полно страшных картин, оно непрерывно работает, его возбуждают все эти встревоженные лица, перешептывания, намеки, предостережения, которые сопровождают мальчика во время всего путешествия. А в конце пути должно произойти то событие, предощущением которого полна его душа; что именно – он не знает, но чувствует: неведомое уже при дверях, и если даже оно не свершится, он все равно готов увидеть его и услышать.

Так Генрих достиг в свите сильнейших города Байоны, совсем поблизости от земли Беарн, его родины. Здесь можно ждать всего, это ведь те места, – да, те самые, – где он жил с отцом и матерью в раннем детстве. Здесь он чувствовал себя дома. Мягко, словно родные, искони знакомые звуки его французского имени, журчит река Адур, а вон те сгустки света, чьи очертания теряются в темно-синем небе, те вершины – это его горы, это Пиренеи. Однако Генриху, столь горячо тосковавшему по ним, теперь ни разу не пришло на ум там и скрыться.

Когда наконец испанцы приехали, оказалось, что это всего-навсего молодая женщина, Елизавета Французская, королева Испании, родная дочь Екатерины, и в качестве начальника ее свиты – герцог Альба. С ним-то мадам Екатерина и вела с глазу на глаз важнейшие переговоры.

Зала охранялась снаружи. Первой появилась старая королева, она прошла вдоль ряда окон и подняла все занавеси. На противоположной стене висели только картины. Затем она села на высокое кресло с прямой спинкой, оттуда видны были двери. Позади нее чернел камин. Его огромное отверстие было полно зеленых веток: стояла середина июня.

Герцог Альба вошел, откинув голову, выступавшую из жестких брыжей. Он не склонил ее и шляпы не снял. На ходу он старался не сгибать колени, лицо у него было немолодое, но гладкое. Никакие испытания не смогли бы оставить на нем свои следы, так оно было надменно.

Альба остановился, однако не из почтительности: он принял позу обвинителя и сразу же без всякого вступления объявил королеве, что его государь, великий король Филипп Испанский, ею недоволен. Она слушала без возражений, да герцог и не ждал их, но снова заговорил суровым и жестким тоном о том, что она пренебрегла своими обязанностями по отношению к святой Церкви и к ее земной деснице, держащей меч, – к дому Габсбургов. Екатерина слушала молча, пока он не кончил.

Потом спросила своим жирным голосом, сколько же ей предлагает испанский король за то, чтобы она все королевство сделала католическим.

– Это ведь стоит недешево, – добавила она.

– Нисколько. Не торгуйтесь, а не то вам придется впустить наши войска и признать донна Филиппа верховным сувереном вашего королевства.

Екатерина ответила, и тут ее голос дрогнул: Господь не захочет этого, ведь доверил же он именно ей, Екатерине, французское королевство и послал сыновей. Однако она обещает королю Филиппу, что больше не станет вызывать его гнев и терпеть протестантскую ересь. У нее-де всегда были самые благие намерения, но недостаток силы приходилось восполнять изворотливостью.

– Сколько стоит здесь у вас удар кинжалом? – спросил Альба.

Екатерина несколько раз шумно вздохнула, она сделала попытку усмехнуться, во всяком случае в ее тоне прозвучала ирония.

– Десять тысяч ударов кинжалом стоят столько же, сколько пушки, сожженные города и междоусобная война.

– При чем тут десять тысяч, – презрительно отозвался Альба, – я имею в виду единственный. – Лишь теперь соблаговолил он приблизить свое лицо с узкой, острой бородкой к уху сидевшей в высоком кресле королевы. И сказал: – Десять тысяч лягушек – это все-таки не лосось.

Екатерина сделала вид, будто обдумывает его слова, хотя отлично поняла их смысл. Чтобы выиграть время, она повернулась к дверям, потом к высоким окнам. Про камин позади ее кресла она забыла. Затем так понизила голос, что даже Альба с трудом разбирал ее слова.

– Под лососем вы должны разуместь по крайней мере двух особ.

Теперь заговорил шепотом и он. Они шептались довольно долго. Наконец их головы отодвинулись одна от другой, герцог отступил, все такой же деревянный, напыщенный, как и в начале разговора. Старая королева грузно поднялась, он протянул ей кончики пальцев и повел к двери, он шествовал торжественно, она ковыляла, переваливаясь.

Оба давно уже вышли, а в зале все еще царила беззвучная тишина. Было слышно, как перед дворцом сняли караул. Лишь тогда зеленые ветки в огромной пасти камина зашевелились, и оттуда вылезла маленькая фигурка. Фигурка обошла вокруг кресла, где только что сидела Екатерина, Генрих опять увидел обоих злодеев, точно они еще были здесь. Он еще раз услышал все, что они друг другу шептали, даже неслышное, даже те два имени, которые подразумевались. Генрих уже отгадал их: имя адмирала Колиньи и – его сердце содрогнулось – имя его матери, королевы Жанны.

Он сжал кулаки, слезы гнева выступили на глазах. Вдруг он завертелся на одной ноге, рассмеялся, весело выругался. Этому ругательству он научился на родине от старика, от деда д'Альбре, – святые слова, искаженные до неузнаваемости. Потом он звонко крикнул, и эхо откликнулось ему.

Moralité

Ainsi le jeune Henri connut, avant l'heure, la méchanceté des hommes. Il s'en était un peu douté, après tant d'impression troubles reçues en son bas âge, qui n'est qu'une suite d'imprévus obscurs. Mais en s'écriant allègrement *Ventre-Saint-Gris* au moment même où lui fut révélé tout le danger effroyable de la vie, il fit connaître au destin qu'il relevait le défi et qu'il gardait pour toujours et son courage premier et sa gaîté native.

C'est ce jour là qu'il sortit de l'enfance³.

³ В авторском тексте *moralités* (поучения) даны по-французски без немецкого перевода. В настоящем издании непосредственно после «поучений» помещается их перевод. – *Примеч. ред.*

Поучение

Так юный Генрих познал до срока людскую злобу. Он уже догадывался о ней после стольких мрачных впечатлений, полученных им в раннем детстве, которое представлялось ему лишь вереницей удивительных неожиданностей.

Однако, весело воскликнув «клянусь святым пупом» в ту самую минуту, когда ему открылись все грозные опасности жизни, он заявил судьбе, что принимает ее вызов и сохранит навсегда и свое изначальное мужество, и свою прирожденную веселость.

В этот день кончилось его детство.

II. Жанна

Крепость на берегу океана

– Все это я отлично видел и слышал, – рассказывал Генрих своей дорогой матушке, когда они в первый раз получили возможность побеседовать наедине. Произошло это лишь в Париже, хотя Жанна присоединилась к королевскому двору, едва только он пустился в обратный путь. – И знаешь, мама, что мне кажется? Альба заметил меня. Зелень в камине была недостаточно густая, я задевал за ветки, они шевелились.

– Он мог подумать, что это ветер. Неужели он бы тебя не вытащил оттуда?

– Другой бы так и сделал, но не этот испанец. Видел я его лицо, не человек он! И если бы он счел нужным, так просто ткнул бы в листву своей шпагой и спрашивать бы не стал, кто там прячется. Но для этого он слишком надменен, да и потом, он был уверен, что ничего нельзя разобрать, когда говорят так тихо. Нет! – воскликнул Генрих, заметив, что Жанна хочет возразить ему. – Для меня – не слишком тихо! Я твой сын, потому я и понял, что они против тебя замышляют.

Жанна взяла руками его голову и прижалась щекой к его щеке.

– Люди не прочь прихвастнуть даже постыдными деяниями.

– Люди, но не чудовища! – отозвался Генрих горячо и нетерпеливо. – А уж до чего оба смешные! – Он вдруг вырвался из рук матери и, передразнивая Альбу, сначала торжественно прошествовал по комнате, а затем проковылял, переваливаясь, как Екатерина. «У него прямо дар подражания», – отметила про себя Жанна; все же она не рассмеялась, и сын понял, что его рассказ заставил ее призадуматься.

Потом она так устроила, что им обоим удалось покинуть двор и бежать. Действовала она столь осторожно, что даже Генрих ни о чем не догадывался. Началось это с поездки в одно из ее поместий. Поездка завершилась вполне безобидным возвращением. И лишь второе путешествие, предпринятое Жанной вместе с сыном по нескольким провинциям, где у него были земли, кончилось бегством на юг. Был февраль, когда они приехали в По, принцу Наваррскому шел четырнадцатый год, и тут он получил первые наставления, как управлять государством и как вести войну, что, впрочем, одно и то же.

Жанна обращалась с собственными подданными словно с врагами, ибо в отсутствие королевы они взбунтовались против истинной веры, и вот нежная Жанна превратилась на время в свирепую повелительницу. Она отправила против бунтовщиков своего сына, при нем многолюдный штаб из дворян и пушки, и приказала отомстить за одного из убитых единоверцев; солоно пришлось тогда мятежникам.

Вскоре после того ее родственник Конде задумал ни много ни мало как напасть на короля Франции и его двор. Медичи сочла, что сигналом к новым волнениям на севере и на юге послужило бегство ее подруги Жанны; и, как обычно, когда обстоятельства складывались не в ее пользу, она решила поторговаться. Мадам Екатерина послала к Жанне одного сладкоречивого царедворца, носившего к тому же звучное имя; но сколько тот ни ораторствовал, Жанна понимала, что ее хотят снова заманить ко двору и прибрать к рукам.

Поэтому она напрямик потребовала для своего сына наместничества над всей Гиеннью, обширной провинцией с главным городом Бордо; до сих пор Генрих носил только титул наместника. Но так как Екатерина и теперь ничего не пожелала дать ему, Жанна поняла все. Тогда Колиньи и Конде немедленно продолжили поход. Жанна подозревала, что враги хотят теперь силой завладеть принцем Генрихом; особенно кардинала Лотарингского она считала способ-

ным на все. Он был опаснее, чем королевский дом, который уже держал власть в своих руках. Гиз еще только воцарился к ней, а Жанна д'Альбре знала по себе, что это значит.

Поэтому она решила переехать в ту местность, где находились главные протестантские твердыни, местность называлась Сентонж и лежала к северу от Бордо, на побережье океана. Генрих был радостно взволнован, тогда как мать мучили сомнения.

– Почему ты плачешь, мама?

– Потому что я не знаю, что хорошо и что дурно. Вечно Сатана старается помешать всякому благому начинанию, и, как бы я ни поступала, я боюсь, что действую по его наущению.

– А Бовуа говорит, что я уже большой, могу идти на войну и сражаться.

– Да кто такой сам Бовуа? Разве Сатана никогда не говорил через него?

– Сейчас он пользуется устами господина де ла Мот Фенелона. – Это был посланец Екатерины. – А я сразу же узнаю голос Лукавого! – воскликнул Генрих.

На это Жанна промолчала. Она была счастлива, – пусть хоть четырнадцатилетний мальчик знает, что хорошо и что нет. Когда она смотрела на его полудетское решительное лицо, она начинала презирать окружавших ее господ, не советовавших ей порывать с двором, – ведь сами они были либо светскими щеголями, либо просто слабыми душонками. В такие минуты она уже не опасалась нашептываний Сатаны и заранее торжествовала победу. Ее сын достаточно подрос, чтобы держать в руках оружие, а это главное.

Она спросила только для очистки совести:

– За что же, сын мой, ты будешь сражаться?

– За что? – переспросил он, удивившись, ибо совсем позабыл о цели борьбы, радуясь, что сможет наконец схватиться с врагом.

Жанна не настаивала, она подумала: «Поймет! Коварство врагов, особенно же коварство судьбы, подскажет ему ответ. Мысль о том, что он сражается за истинную веру, будет каждый раз придавать ему силы. Да, наверное, и кровь заговорит: ведь дядя Конде ему более близкая родня, чем любой из католических князей. А кроме того, королевство ждет умиротворения через нашу победу, – про себя добавила Жанна, вспомнив о своих высших обязанностях. – Но главное, – вернулась она опять к прежней мысли, – это служение Богу. Вся жизнь моего милого сына должна быть как бы отлита из одного куска, и эту цельность ей даст вера».

Так ошибалась королева Жанна, предсказывая будущее своему веселому драчуну. Она знать ничего не хотела о ногах принцессы Марго, хотя собственными глазами видела, насколько он занят ими, когда стояла у окна со своей подружкой Екатериной. Забыла она и о том, что в монастырской школе Генрих все-таки отрекся от своей веры и пошел к обедне. Правда, он некоторое время мужественно сопротивлялся, но что может сделать ребенок, когда все на него насаждают? Что может сделать даже взрослый, если ему хочется иметь друзей и наслаждаться жизнью, а не разделять участь мучеников? Королева Жанна принадлежала к числу тех, кто, несмотря на все пережитые испытания и гнусные козни врагов, сохраняет до конца своей жизни душу доверчивую и простую. Зато, даже старея, они еще способны любить и верить.

Генрих знал Жанну лучше, чем она знала его; поэтому он редко просил у нее денег. Он пристрастился к игре, любил попировать, добывая себе средства тем, что неожиданно-негаданно посылал людям на дом долговые расписки. Расписку либо возвращали обратно, либо присылали денег; но от матери он эти проделки тщательно скрывал. Только война может погасить его долги, решил наконец молодой человек. Не только возвышенные и бескорыстные побуждения заставляли его желать междоусобной войны: он был в таком же положении, как и другие голодные гугеноты. Но это шло на пользу дела, которому он служил, ибо тем горячее и убежденнее он говорил и действовал.

Жанна тронулась в путь вместе с ним; по дороге к протестантской крепости Ла-Рошель они опять замешкались, встретив того же самого посланца французского короля. Он осведо-

мился у Генриха, почему принц стремится во что бы то ни стало в Ла-Рошель, к своему дяде Конде.

– Чтобы не тратиться на траурную одежду, – тут же нашелся Генрих. – Нам, принцам крови, надо умереть всем сразу, тогда ни одному не придется носить траур по другому.

Этот господин, видно, считал Генриха дураком, иначе он не стал бы восстанавливать его против родной матери. Не называя ее имени, он завел разговор о поджигателях междоусобной розни.

– Довольно одного ведра воды, – воскликнул тут же Генрих, – и пожару конец!

– Как так?

– Пусть кардинал Лотарингский вылакает его до дна и лопнет! – А если господин придворный не понял, значит он менее смышлен, чем пятнадцатилетний мальчишка. Жанна больше всех умела ценить находчивость Генриха. Она была так поглощена сыном, что не слишком спешила и чуть не попала в лапы к Монлюку, который опять следовал за ней по пятам. Но все же мать и сын благополучно достигли укрепленного города на берегу океана, и какая это была огромная светлая радость – наконец увидеть вокруг себя только лица друзей. Поэтому-то и блестели их взоры – плакали они или смеялись. Колиньи, Конде и все, кто уже был в Ла-Рошели и тревожился за них, праздновали встречу с такой же сердечной радостью.

А это немало – город, полный дружелюбия и безопасности, когда позади целая страна ненависти и гонений! Сразу исчезают недоверие, осторожность, забота, и на первых порах избегнувшему беды достаточно того, что он свободен, что он вольно дышит. Обо всем, что тебя мучило и терзало, можно рассказать вслух, а остальные смотрят на тебя и словно говорят твоими устами. Ты уже не одинок и знаешь, что тебя окружают только те, кого тебе не нужно презирать. Избави нас от лукавого! Проведи через все опасности тех, кого я люблю! И вот мы здесь!

Он стоял у самого моря. Даже во мраке ночи Генрих мог, не боясь нападений, ходить в гавань и на бастионы. Мощно катились перед ним морские валы, сшибаясь, переваливаясь друг через друга, и в их реве слышался голос дали, его не знавшей, а в морском ветре он ощущал дыхание иного мира. Его дорогая мать уверяла, что если сердце в груди бьется уже слишком сильно, то это – Бог. А сын ее, Генрих, опьянялся мыслью о том, что не перестанут водяные громады греметь и катиться, пока не домчатся до неведомых побережий нового материка – Америки. Рассказывают, что она дика, пустынна и свободна; свободна, думал он, от зла, от ненависти, от принуждения верить либо не верить в то или другое, смотря по тому, придется ли за это пострадать или удастся получить власть. Да, по ночам, окруженный морем, стоя на камнях, залитых пеной, юный сын Жанны становился таким же, как его дорогая мать, а то, что он называл Америкой, было скорее царством Божиим. Временами звезды поблескивали между мчавшихся, почти незримых облаков; так и душа пятнадцатилетнего мальчика, подобная облаку, мгновениями пропускает свет. Позднее это будет ей уже не дано. Земля у него под ногами будет становиться все плотнее и вещественнее, и к ней прилепится он всеми своими чувствами и помышлениями.

Цена борьбы

Принц Наваррский торопил стариков с началом похода. Не нужно никаких совещаний, никаких речей. Представителям города на их приветствия он отвечал:

– Я так хорошо говорить не умею, а сделать сделаю кое-что получше, – да, сделаю.

Наконец-то увидеть врага, рассчитаться с ним, наконец-то вкусить наслаждение мезтью!..

– Это же вопиющее дело, мамочка, французский король прибирает к рукам все твои земли, его войска покоряют нашу страну. Я хочу сражаться! И ты еще спрашиваешь – за кого? Да за тебя!

– А письмо судебной палате в Бордо моя подружка Екатерина ловко состряпала. Оно должно лишить меня всех моих владений, я будто бы здесь в плену, а разве она сама не замыслила того же? Нет, тут убежище, а не темница, хоть и нельзя мне выезжать из города и пользоваться моими угодьями. Но да будет эта жертва принесена Богу! Иди и порazi его врагов! За него сражайся!

Она сжала виски сына своими иссохшими руками. И формой головы, и чертами лица он был очень похож на мать: те же высокие узкие брови, те же ласкающие глаза, спокойный лоб, темно-русые волосы, волевой маленький рот; все в этом худощавом юноше, казалось, расцветает, и этот расцвет словно в обратном порядке отражал увядание матери. Он был здоров и строен, его плечи и грудь становились все шире. Однако он не обещал быть высоким. Нос был длинноват, хотя пока его кончик лишь чуть-чуть загибался к губе.

– Я отпускаю тебя с радостью, – заявила Жанна тем низким и звучным голосом, какой у нее бывал, когда она будто поднималась над собою. И лишь после его отъезда она дала волю слезам и расплакалась жалобно, точно ребенок.

Немногие плакали в городе Ла-Рошель, глядя, как войско гугенотов выступает через городские ворота. Напротив, люди радовались, что близится час господень и победа его. У большинства воинов семьи остались в стане врага, были оторваны от отцов и мужей, и солдаты крепко надеялись отвоевать их у противника. Ведь это несказанное облегчение – идти на такую войну!

И все же поборники истинной веры были разбиты. Два тяжелых поражения нанесло им католическое войско, хотя численность их была не меньше: по тридцать тысяч стояло с обеих сторон. К протестантам приходили подкрепления с севера Франции и с юга. Кроме того, они могли рассчитывать на поддержку принцев Оранского и Нассауского и герцога Цвейбрюкенского. Ведь для истинной веры нет границ между странами и различий между языками: кто стоит за правду – тот мне друг и брат. И все-таки они дважды потерпели тяжелое поражение.

А вышло это потому, что Колиньи слишком тянул. Следовало гораздо стремительнее пойти на соединение с иноземными союзниками и перенести войну в сердце Франции. Вместо того Колиньи позволил врагу напасть на него врасплох, в то время как протестанты еще очень мало продвинулись вперед; тогда он призвал на помощь Конде и пожертвовал принцем крови, лишь бы спасти свое войско. Под Жарнаком, от пули, посланной из засады, Конде пал. В армии герцога Анжуйского была великая радость, труп положили на ослицу и возили повсюду, – пусть солдаты глядят на него и верят, что скоро вот так же прикончат всех протестантов. Но Генрих Наваррский, племянник убитого, решил, что он лучше знает, в чем воля господня. Теперь пришел его черед, вождем стал он.

До сих пор Генрих скакал на коне перед войском, только и всего; но разве не таился в этом глубокий смысл – мчаться навстречу врагу, когда ты невинен, чист и нетронут, а враг погряз в грехах и должен быть наказан? Впрочем, это его дело, тем хуже для него, а мы целый день в движении, по пятнадцать часов не слезаем с седла, мы великолепны, неутомимы и не

чувствуем своего тела. Вот Генриха подхватывает ветер, он летит вперед, глаза становятся все светлей и зорче, он видит так далеко, как еще никогда, – ведь у него теперь есть враг. А тот вдруг оказался не только в ветре, не только в дали. Он возвестил о себе, пролетело ядро. Звук у выстрела слабый, а ядро в самом деле лежит вот тут, на земле, тяжелое, из камня.

В начале каждого боя Генриха охватывал страх, и приходилось преодолевать его. «Если бы мы не ведали страха, – сказал ему один пастор, – мы не могли бы и побеждать его во славу Божию». И Генрих делал над собой усилие и становился на место того, кто падал первым. Так же поступал его отец, Антуан, и пуля попала в него. В сына пули не попадали, страх исчезал, и он мчался со своими людьми окружать вражескую артиллерию. Когда это удавалось, Генрих радовался, словно то была веселая проказа.

Теперь дядя Конде погиб – и беззаботному мальчику пришлось стать серьезным, возложить на себя бремя ответственности. Его мать Жанна поспешила к нему, сама представила войскам нового вождя, – сначала кавалерии, потом пехоте. А Генрих поклялся своей душой, честью и жизнью всегда служить правому делу, и войска восторженно приветствовали его. Зато теперь ему приходилось не только нестись верхом навстречу ветру, но и заседать в совете. Довольно скучное дело, если бы не смелые шутки, которыми он развлекался. Огромное удовольствие доставило ему одно письмецо к герцогу Анжуйскому. Так именовался теперь второй из здравствующих сыновей Екатерины, – раньше он был просто монсеньором: его тоже звали Генрих, один из трех Генрихов былых школьных лет в Париже. А теперь они шли друг на друга войной.

И вот этот самый Генрих-монсеньор обратился к Генриху Наваррскому с высокомерным и нравоучительным посланием о его долге и обязанностях перед государством. Это бы еще куда ни шло, но как ужасен был витиеватый, напыщенный слог!.. Либо секретарь, должно быть иноземец, потея от натуги, постарался сделать его возможно цветистее, либо сам монсеньор уже не знал, что и придумать повычурнее да пожеманнее: точь-в-точь его сестрица Марго! Принц Наваррский в ответном письме высмеял всю эту достойную семейку. Писавший-де выражается так, точно он из другой страны и простой разговорной речи обыкновенных людей не знает. Ну а правда, конечно, там, где правильно говорят по-французски!

Генрих ссылаясь на язык и стиль. Но при этом не смог скрыть и своих погрешностей, не доходивших до его сознания: ведь и сам он родом был бог весть откуда и тоже говорил вначале несколько иначе, чем парижане. Потом он научился речи придворных и школяров, а под конец – речи солдат и простого народа, и их язык стал ему всего ближе. «Своим языком я избрал французский!» – воскликнет он позднее, когда снова отдаст себе отчет в своем происхождении. Однако сейчас ему хотелось верить, что этот язык для него был первым и единственным. Он нередко спал на сене вместе со своими солдатами, не снимая платья, как и они, умывался едва ли чаще, и пахло от него так же, и так же он ругался. Одну гласную Генрих все еще произносил иначе, чем они, но этого он не желал замечать: он забыл, как некогда на школьном дворе два других Генриха, подталкивая друг друга, презрительно улыбались тому, что он употреблял слово «ложка» в мужском роде. Он до сих пор так говорил.

Иногда Генрих отчетливо видел военные ошибки, которые допускал Колиньи. Это бывало в те минуты, когда жажда жить и мчаться вперед на коне не захватывала его целиком. Обычно ему казалось, что важнее биться, чем выигрывать битвы, – ведь жизнь так долга и радостна. А адмирала, старика, нужно почитать, он хорошо изучил военное дело; только поражения, победы и опыт многих лет дают такое знание. Но этому воплощенному богу войны с трагической маской статуи Генрих не поверял своих сомнений, он делился ими лишь с двоюродным братом Конде, сыном убитого принца крови, которого Колиньи принес в жертву.

Они сходились в том, что обычно сближает молодежь: старик-де отжил свое. Теперь ему все не удается, и – раз уж мы заговорили об этом – скажи, когда он брал верх? Впрочем, не будем грешить: однажды – все старики это помнят – он спас Францию во Фландрии, при...

ну, как бишь его? Тогда Гизы еще затеяли войну против нашего исконного врага, Филиппа Испанского. Но дело было давным-давно, в незапамятные времена, кто теперь помнит все это? Господин адмирал отсоветовал начинать поход, в последнюю минуту предотвратил поражение, самолично засев в неукрепленном городе; а кто получил награду? Не он, а Гизы, хотя они были виновниками войны. Это еще хуже, чем если бы он... а! – вспомнил, Сен-Кан... так называется эта дыра... – чем если бы он сразу же отдал ее испанцам. Уж кому не повезет...

Что правда, то правда, – в свое время он отнял у англичан Булонь. Это всем известно. Он командовал французским флотом, и, когда я с камней в Ла-Рошели смотрел в ту сторону, где лежит Новый Свет, мне думалось, что господин адмирал Колиньи первый из французоз попытался основать французскую колонию. Четырнадцать эмигрантов и два пастора отплыли в Бразилию, но, конечно, ничего из этой затеи не вышло. Старика постигла та же участь, что и большинство людей: он все поставил на карту и проиграл. Если уж не везет...

Колиньи нередко побеждал, верно; но ведь то были победы над королем Франции, которого он всего-навсего старался помирить с его подданными – протестантами и вырвать из рук Гизов. Поэтому господину адмиралу приходилось без конца подписывать дутые договоры, а потом война начиналась сызнова. Адмирал хотел доказать своей умеренностью, что он в конце концов не мятежник против короля, и все-таки однажды сделал попытку даже захватить в плен Карла Девятого, и тот ему никогда не мог простить, что вынужден был бежать. Либо ты, во имя Божие, мятежник против короля, либо не наступай с войском на Париж, а уж если наступаешь, то не давай водить себя за нос, вместо того чтобы взять приступом столицу королевства, разграбить ее и стереть с лица земли весь королевский двор! И вот, как только двору угрожает опасность, король выпускает эдикт, обещающий протестантам свободу вероисповедания, а на другой же день эдикт нарушается. Да если бы и соблюдался, что выиграли бы наши братья по вере? За двадцать миль приходится ехать или бежать гугеноту, когда он хочет присутствовать на богослужении, – нам разрешают иметь слишком мало молитвенных домов! Нет? Не нравится мне побеждать без толку.

Конечно, он превосходный полководец и поборник веры. Ведь ревнителей истинной религии меньшинство, и если нас боятся, так лишь потому, что боятся господина адмирала, и если посылают к нам посредников для переговоров, те спрашивают: знаете ли вы, что для двора вы звук пустой, все дело в господине адмирале? А теперь взгляни на него, что же осталось ему от всех его успехов, от жизни, полной самых благих усилий? Говорят, до той давнишней победы под Сен-Кантенем, которая для него обернулась так несчастливо, а для его врагов – Гизов – так удачно, он был всемогущим фаворитом. Еще царствовал ныне покойный король, он любил Колиньи, озолотил его, мадам Екатерина еще пикнуть не смела, а ее сын Карл был еще дитя. Это времена его славы, мы их не застали. Теперь и мы здесь, что же происходит вот в эту самую минуту, когда мы с тобой беседуем? Враги в Париже распродают с молотка его мебель из Шатильонского замка, который они предали огню. Колиньи приговорен к удушению и повешению на Гревской площади, как мятежник и заговорщик против короля и королевской власти. Имущество его конфисковано, дети объявлены бесправными и лишенными честного имени, и тому, кто выдаст его – живого или мертвого, – обещана награда в пятьдесят тысяч экю. Мы, молодые, всегда должны помнить: господин адмирал пошел на все ради истинной веры и унижился ради величия господня. Иначе это было бы непростительно!

– Он убил старого герцога Гиза, – единственное, что он сделал ради самого себя, и мне, говоря по правде, это понравилось больше всего. Мстить нужно, – заявил молодой Конде. А его двоюродный брат Генрих ответил:

– Я не выношу убийц, – да господин адмирал и не убийца. Он только не остановил убийцу.

– А что говорит его совесть?

– Что тут есть разница. Совершить убийство – мерзко, – возразил Генрих. – Подсылать убийц – недопустимо. Не удерживать их – пожалуй, можно, хотя не хотел бы я оказаться перед

такой необходимостью. А все-таки следовало бы заставить кардинала Лотарингского вылакать полную бочку воды. Только он и его дом виноваты во всех несчастьях, постигших Францию. Они предают королевство в руки Филиппа Испанского в надежде, что он посадит их на престол. Они одни вызывают к нам, протестантам, ненависть короля и народа. И они хотели убить Колиньи, они первые начали, он только опередил их. Может быть, ему не надо было это отрицать. Я лично верю, что Господь оправдает его.

Конде заспорил, он думал не только об убийстве герцога Гиза, но и о своем отце, принесенном в жертву адмиралом и павшем под Жарнаком.

– Господин Колиньи не любил моего отца за то, что у него было слишком много любовниц, иначе он бы не погубил его. Но господин адмирал умеет договариваться со своей совестью, а ты, видно, учишься у него, – заявил юноша вызывающим тоном.

– Смерть твоего отца была необходима для победы истинной веры, – мягко пояснил Генрих.

– И для твоей тоже! С тех пор ты стал у нас первым среди принцев.

– Я был им и до того по праву рождения, – быстро и с внезапной резкостью отозвался Генрих. – Увы, это бесполезно, если нет денег, но есть могущественные враги и если сражаешься как беглец, которого стараются поймать. А что мы делаем, чтобы все это изменилось? Разве мы наступаем? Я – да! Двадцать пятого июня – этого дня я никогда не забуду – это был мой день и моя первая победа! Но разве я могу похвалиться перед стариком моей первой победой?

– Да и схватка-то была пустячная. Адмирал ответил бы тебе, что хоть ты и порезвился под Ла-Рош-Абелью, а все же нам пришлось засесть в укреплениях и ждать немцев. А когда рейтары наконец явились, помнишь, что было? – Голос Конде звучал громко и гневно. – Тогда мы поспешили отправить как можно больше войск королеве Наваррской, чтобы они очистили ее страну от врагов. И теперь за это расплачиваемся.

– Ничем ты не расплачиваешься, – сказал Генрих. – У тебя что ни день, то новая девчонка.

– И у тебя тоже.

Оба подростка выпустили из рук поводья, остановились и в упор посмотрели друг на друга. Конде даже погрозил кулаком. Но Генрих не обратил на это внимания; напротив, вдруг обвил руками шею двоюродного брата и поцеловал его. При этом он подумал: «Немножко завистлив, немножко слаб, но по крайности все же мне друг, а если нет – так должен стать другом!»

Обнял кузена и Конде. Когда они опустили руки, глаза у него были сухи, а у Генриха влажны.

Все же посылать войска в Беарн стоило, ведь они там побеждали. Господам в Париже придется над этим призадуматься, решил сын Жанны, и мадам Екатерине тоже, пожалуй, станет душно под ее шубой из старого жира. Мы стоим с большей частью нашей армии в Пуату, на полпути к столице королевства, и мы его завоюем любой ценой! Вперед!

Оба потребовали свидания с адмиралом, и Колиньи принял их, хоть и трудно было ему придать своим чертам выражение решимости и непоколебимого упования на Бога: уж слишком много ударов обрушил на него Господь за последнее время! Однако старый протестант выказал себя твердым в несчастье, он знал, что ему предстоят суровые испытания. Ведь никому нет дела до того, какая тоска овладевает им в иные часы ночи, когда он остается один и даже к Всевышнему уже не находит пути. Все же он выслушал взволнованных подростков с полным самообладанием.

Двоюродный брат был необузданнее Генриха. Без всяких учтивостей он потребовал, чтобы Колиньи шел на Париж. Бросил ему упрек в робости за то, что старик не предпринимает решительных шагов, – осадил Пуатье, и ни с места, никак взять его не может. Враг же этим пользуется и собирает свои силы.

Адмирал задумчиво смотрел на обоих, на того, кто кипел, и на того, кто молча ждал. Умудренный опытом, старец отлично понимал, чью именно волю и мысль выражает этот юноша; потому и ответ свой обратил не к Конде, а к Наварре. Колиньи объяснил: позиции врага на пути к Парижу слишком сильны, и не остается ничего иного, как искать соединения с войсками, отосланными на юг; кроме того – тут он многозначительно поднял палец – ему ведь надо позаботиться и об иноземцах: они должны получить свое жалованье. Иначе они сбегут. Сам он уже пожертвовал фамильными драгоценностями, не допустив, чтобы наемники самочинно добывали себе вознаграждение. Но об этом он умолчал: христианину не подобает кичиться своими жертвами, и человеку гордому – также. Колиньи предоставил молодому принцу Генриху разглагольствовать и предъявлять ему незаслуженные обвинения.

– Вы позволяете им грабить страну. Я, правда, молод, господин адмирал, и воюю не так давно, как вы. Но я никогда не думал, что чужеземцы, вместо того чтобы сражаться бок о бок с нами, будут жечь наши деревни и пытаться наших крестьян, вымогая у них последние крохи. Деревенские жители убивают мародеров из вашего войска, ибо это хищные звери, мы же расправляемся все ужаснее с людьми, которые говорят на нашем языке.

– Они не признают нашей веры, – отозвался протестант, трагически насупившись. Генрих стиснул зубы, иначе у него вырвались бы слова – он с ужасом слышал, как они уже звучат у него в душе, – слова возмущения против религии.

– Не может быть, чтобы все это совершалось по воле Божией! – воскликнул он.

Колиньи решительно отрезал:

– В чем воля Божия, это вы узнаете, мой принц, в конце похода. Но Господь Бог, видно, хочет еще сохранить меня для угодных ему деяний – стража опять поймала убийцу, подосланного ко мне Гизами.

Про себя он решил держать этого молодого критика как можно дальше. Перед битвой под Монконтуром, которую адмиралу опять было суждено проиграть, он отправил обоих принцев, ради их безопасности, в тыл, хотя один бушевал, а другой горько плакал. Потом снова появилась Жанна д'Альбре, и они стали держать совет. После нового поражения протестантское войско лишилось еще трех тысяч солдат, и не осталось ничего другого, как отвести его на юг, не ожидая, чтобы его меньшая часть присоединилась к нему на севере.

Жанна, как обычно, привезла с собой своих пасторов. Она втайне совещалась с Колиньи, и после этих совещаний павший духом старик еще раз стал победителем. Ибо та внутренняя победа, которую мы одерживаем в своей душе, это главное, военная победа идет за ней по пятам: так верила Жанна. После совещаний ее пасторы запевали псалмы, а войско и его полководец чувствовали себя опять благочестивыми и сильными.

И вот войско двинулось форсированным маршем, и обе его разобщенные части действительно соединились. Протестанты прошли через всю страну, вплоть до графства Невер. И отсюда они стали угрожать Парижу. Двор сейчас же зашевелился. Колиньи еще продвигался вперед, а госпожа Екатерина и Жанна уже торговались. Войско еще наступало, а мир был уже подписан, и лишь тогда оно остановилось. Этим договором протестантам была дана свобода вероисповедания.

Генрих радовался вместе с матерью – он видел, что она счастлива. И даже сам чувствовал себя счастливым, пока ни о чем не задумывался. Однако во время наступления он заболел, ему пришлось застрять в каком-то городе, и тут, на досуге, он припомнил все ужасы этой войны и навсегда запечатлел их в своей памяти. А может быть, он и заболел от злодейств, совершенных протестантским войском, как некогда свалился будто в оспе лишь потому, что его принуждали сделаться католиком.

Генрих не скрыл от адмирала мучивших его сомнений. Он сказал:

– Господин адмирал, вы и вправду верите, будто свободу совести можно предписать всякими соглашениями и постановлениями? Вы великий полководец, вы ушли от врага и угро-

жали королю Франции в его столице. А народ в тех провинциях, куда мы принесли бедствия войны, все равно будет твердить о мятежниках, которых называют гугенотами, и не даст нам спокойно молиться там, где мы только что грабили и убивали.

Но победитель Колиньи отвечал:

– Принц, вы еще очень молоды, кроме того, вы лежали больной, когда мы пробивались вперед. Люди скоро все забывают, и только Господь будет помнить, на что нам пришлось пойти ради его святого дела.

Генрих не поверил: но если это правда, думал он, то тем хуже, что самому Господу Богу, а не только ему, Генриху, пришлось увидеть, как несчастных людей подвешивают, чтобы они показали, где у них спрятаны деньги, а под ногами разводят огонь! Боясь сказать лишнее, он отвесил победителю поклон и вышел.

Семейная сцена

За этим последовало недолгое время, когда Жанне и Генриху могло показаться, что они живут на мирной земле, без ненависти, без коварства. Жанна управляла своей маленькой страной, он – обширной провинцией Гиеннь. Ей уж не надо было карать, ибо ее подданные снова сделались добрыми протестантами. Генрих же от чистого сердца представлял короля Франции. В самом деле, почему он должен быть исконным врагом королевского дома? Нет, столь глубоких корней поучения матери в нем не пустили. Молодому человеку иногда следует и позабыть о честолюбии. Поэтому, когда Генриху исполнилось восемнадцать лет, он в течение нескольких быстро пролетевших месяцев твердил: «Довольно я сделал для жизни! Женщины так прекрасны, и искать их благосклонности – занятие более увлекательное, чем война, религия или борьба за престол!»

Он разумел молодых женщин и те мгновения, когда они словно уж и не человеческие существа, а скорее богини – до того прекрасно их торжествующее тело. Каждый раз, когда он познавал их и убеждался, что они из плоти и крови, они все же продолжали казаться ему созданиями другого мира, ибо воображение и желание тотчас снова их преображало. К тому же это были все новые женщины, так что он не успевал в них разочаровываться. Генрих слишком часто их менял. Поэтому он еще не догадывался, что в их восхитительных телах, вместо владевших им возвышенных чувств, чаще всего живут лишь расчет да ревность. И если одна начинала ненавидеть его, то он был способен полсуток мчаться верхом без отдыха, чтобы за свою пылкость добиться награды от другой. И та ждала его – ее взор сиял, лицо ее было ликом вечной любви. Он падал к ногам какой-нибудь новой возлюбленной и целовал край ее одежды, наконец достигнув блаженной цели после долгой, бешеной скачки. Слезы туманили ему глаза, и сквозь их пелену женщина казалась ему вдвое прекраснее.

Однако, в то время как Генрих жил для молодых женщин, несколько более зрелых дам без его ведома занимались его судьбой. И первая – Екатерина Медичи. Однажды утром в Лувре она удостоилась высочайшего посещения своего сына Карла Девятого. Карл был еще в ночной сорочке – так спешил к матери этот рыхлый молодой человек. Не успев прикрыть за собою дверь, он воскликнул:

– Я же говорил тебе, мама!

– Твоя сестра впустила его?

– Да. Марго спит с этим Гизом, – сердито подтвердил Карл.

– А что я тебе говорила? Потаскуха! – выразилась мадам Екатерина с той точностью, какой требовали обстоятельства.

– И вот вам благодарность за то, что ей дали хорошее образование, – гремел Карл. – Знает латынь: уж такая ученая, что даже за обедом читает! Танцует павану, хочет, чтобы ее воспевали поэты, – перечислял он, горячась все больше, – завела позолоченную карету, на головах лошадей – плюмажи шириной с мою задницу! Но я знаю, что она проделывает: я подсмотрел! С одиннадцати лет эта дрянь такими делами занимается!

– Ты же и сводил ее, – уточнила Екатерина. Но Карл не дал прервать себя. Он знал всех любовников сестры и, бранясь, перечислил их. Потом вдруг обмяк, умаялся от своей ярости, – при его комплекции подобные волнения были очень вредны. Лицо Карла побурело, задыхаясь, он с размаху повалился на кровать матери, так что взлетел пух от подушек; потом пробурчал:

– А мне-то какое дело? Горбатого могила исправит, так и будет путаться либо с Гизом, либо еще с кем-нибудь. Плевал я на нее.

А мать смотрела на него и думала: «Всего несколько лет тому назад у него был такой благородный вид – прямо портрет на стене. А сейчас – еще немного, и будет просто мясник,

а не король. Как это я так маху дала! Да ведь не я, а все эти паршивые Валуа. Кровь рыцарей-варваров сказывается вновь и вновь, и вот опять видишь эдакого, из той же породы», – рассуждала дочь Медичи, – но лишь потому, что ее малоизвестные предки жили в удобных покоех, а не в конюшнях и военных лагерях.

Она сказала своим однообразным, тусклым голосом:

– Коли твоя сестра так ведет себя, мне скоро придется, пожалуй, назвать Генриха Гиза зятем. И кто тогда, мой бедный мальчик, возьмет верх – ты или он?

– Я! – прорычал Карл. – Я король!

– Божией милостью? – спросила она. – Одно тебе пора бы уже зарубить себе на носу: каждый король должен сам помогать этой Божией милости, или ему не удержать престол. Сейчас ты король, мой сын, потому что я, твоя мать, еще жива!

Все это она сказала особым тоном, знакомым Карлу с детства: слыша его, сын невольно вставал. Он и сейчас поднялся с кровати, где сидел в одной сорочке, из-под которой выпирали жирная грудь и живот; он стоял перед маленькой толстой старухой, готовый выслушать ее волю.

– А я не хочу, – отрезала она, – чтобы Марго вышла за Гиза, для меня его род слишком силен. Моя воля в том, чтобы она получила в мужа заурядного молодого человека, который будет нам служить.

– И кто же это?

– Он должен быть из хорошей семьи, но не влиятельной и в Париже неизвестной. Главное – я хочу иметь его под рукой. Тот, кто достигаем, уже не опасен. Своих врагов нужно держать при себе, в доме.

– Но ты имеешь в виду не...

– Я как раз договариваюсь с его матерью, – главное, пусть присылает его сюда, чтобы он прежде всего был в моей власти.

– Он же еретик! Моя сестра и еретик – о таком союзе никогда не помышляли всерьез!

– А если бы твой брат д'Анжу женился на английской королеве? Елизавета ведь тоже еретичка, и притом – великая государыня, собственной милостью.

– Она убивает своих католиков, – сказал Карл, скорей со страхом, чем с возмущением. Его мамаша слишком хитроумна. Даже религия не может обуздать в ней дух предприимчивости. Она изрекает самые чудовищные вещи, сохраняя при том полную непринужденность.

– Пусть английские католики сами о себе заботятся, да и французские тоже, – добавила она.

Карл опустил глаза и что-то буркнул, на большее он не дерзал.

– Ведь существует еще испанский король, – проворчал он наконец.

– Моя дочь, королева Испании, умерла, – заявила Екатерина без всякой скорби. – Отныне мне приходится опасаться со стороны дона Филиппа только того, как бы он не воспользовался моими затруднениями. Поэтому мои протестанты мне нужны. – И про себя добавила: «А когда у меня больше не будет в них нужды, я поступлю с ними в точности, как поступает королева английская со своими католиками».

Но зачем ей было открывать все это своему бездарному сыну? И она перешла к тому, для чего он ей был нужен.

– Твою сестрицу пора наконец образумить.

– Верно! Эта история с Гизом...

– Который сядет на твое место, – быстро подсказала она.

Карл зарычал:

– Подать мне сюда сестру! Я покажу ей, как отнимать у меня престол!

И он уже бросился было вон из комнаты, но мать успела схватить его за рубашку.

– Не смей! Гиз может быть у нее, а он вооружен.

Карл сразу же остыл.

– И потом, если они тебя увидят, она ни за что сюда не придет. Я желаю, чтобы это дело обсуждалось келейно, здесь, у меня, и больше нигде.

Она хлопнула в ладоши и сказала тут же вошедшей фрейлине:

– Попроси принцессу, мою дочь, явиться ко мне, я должна сообщить ей важную новость. Заверь ее, что новость приятная.

Затем они стали ждать – Екатерина сидела неподвижно, сложив руки на животе, а ее тучный сын нетерпеливо бегал по комнате; его ночная сорочка развевалась, он уже заранее сердито сопел и рычал.

Наконец двери широко распахнулись: вошедшая вызвала бы своим видом восхищение у каждого, но только не у этих двух. Невзирая на ранний час, Маргарита Валуа была одета в платье из белого шелка, все осыпанное блестками. На ней были красные туфли и рыжий парик, а лицо свидетельствовало об умысле принцессы придавать ему с помощью притираний тот самый оттенок, который бывает у рыжеватых блондинок.

Она вошла, как того требовал избранный ею тип красоты, – величавой и вместе с тем легкой поступью. Так она вошла бы в пиршественный зал. Но достаточно ей было взглянуть на мать и на брата, как она поняла, что ее сейчас ожидает. Жеманное личико застыло, гордая улыбка сменилась выражением ужаса, Маргарита невольно отступила. Однако поздно: Екатерина уже сделала знак, и двери снаружи захлопнули.

– Чего вы от меня хотите? – спросила Марго жалобным голосом, который тут же сорвался. Карл Девятый посмотрел на свою мать и, так как она сделала вид, будто не замечает его взгляда, понял, что ему разрешается все. Взревев, кинулся он на сестру. Сорвал с нее рыжий парик, и ее собственные черные волосы, растрепавшись, упали ей на лоб; теперь она уже не смогла бы придать себе величественный вид, даже если бы хотела. Царственный брат хлестал ее по щекам, справа, слева, – пощечины так и сыпались на нее, сколько она ни старалась уклониться.

– С Гизом спишь! – ревел он. – Престол у меня отнимаешь! – хрипел он.

Румяна остались на его пальцах, вместо них на щеках Марго проступили багровые полосы. Так как она извивалась и откидывалась назад, кулаки брата обрушивались на ее полные плечи.

– У-у – толстозадая!

Тут он судорожно захохотал и сорвал с нее платье. Едва он коснулся ее тела, как ему неистово захотелось измолотить ее всю. Наконец у девушки вырвался вопль – вначале она просто онемела от ужаса; пытаясь спастись, она бросилась в объятия матери.

– Ага, попалась, – вымолвила мадам Екатерина и крепко схватила принцессу, а Карл Девятый снова начал ее бить.

– Перекинь-ка ее через колено! – посоветовала мадам Екатерина, и он сделал это, несмотря на отчаянное сопротивление своей жертвы. Одной рукой он, словно клещами, продолжал сжимать стан сестры, а другой бил ее по обнаженным пышным ягодицам. Однако мадам Екатерина, видимо, сочла, что этого мало, и решила подсобить ему по мере возможности, но увы, в ее мясистых ручках было слишком мало сил. Тогда она наклонилась над безупречно округлым задом дочери и укусила его.

Маргарита взвыла, точно зверь. Наконец Карл в изнеможении выпустил сестру, просто уронил на пол и стоял, тупо уставившись на нее, словно пьяный. У мадам Екатерины тоже перехватило дыхание, в ее тусклых черных глазках что-то посверкивало. Но она уже снова сложила руки на животе и сказала с обычным хладнокровием:

– Вставай, дитя мое. На кого ты похожа!

Она кивнула Карлу, чтобы тот протянул руку сестре и помог ей встать. Потом сама начала оправлять одежду дочери. Как только принцесса Марго поняла, что опасность миновала, она тотчас снова приняла надменный и властный вид.

– Все разорвал! Болван! Позови мою камеристку!

– Нет, – решила мать. – Лучше, если это останется между нами.

Она сама зашила порванное белое шелковое платье, расправила его и собственноручно наложила на щеки дочери румяна, стертые слезами и пощечинами. По приказу матери Карл отыскал сорванный им с головы Марго парик – он оказался под кроватью, – стряхнул с него пыль и надел ей на голову. Теперь это была опять та же гордая и пленительная молодая дама, которая перед тем вошла в комнату.

– Иди читай свои латинские книги, – пробурчал Карл Девятый. А Екатерина Медичи добавила:

– Но не забывай нравоучения, которое ты сейчас от меня получила.

Англия

Еще одна могущественная женщина интересовалась судьбой Генриха, в то время как сам он был занят больше всего удовольствиями. Елизавета Английская принимала в лондонском замке своего посла в Париже.

– Ты на один день опоздал, Волсингтон.

– На море была буря. Вашему величеству доставили бы, наверно, только мертвого посла. И боюсь, он не смог бы сообщить вам все, что имеет сообщить.

– Для тебя, Волсингтон, это было бы лучше. Смерть в море не так мучительна, как на эшафоте. А ты ближе к топору и плахе, чем полагаешь.

– Умереть за столь великую государыню – самое прекрасное, чего может пожелать человек, особенно если он выполнил свой долг.

– Свой долг? Ах вот как, свой долг! Так, по-твоему, что же самое прекрасное, свинья? – Она ударила его по щеке.

Он видел, что она хочет его ударить, но сам подставил щеку, хотя знал, насколько тяжела эта узкая рука. Королева была женщина рослая, белокожая, неопределенных лет, держалась она очень прямо, словно на ней был панцирь, и рыжие волосы – такой парик Марго Валуа надевала только к некоторым платьям – были у нее свои.

– Французский двор что ни день все больше сближается с королем Испанским, а ты мне – ни слова! Мне грозит величайшая опасность потерять мою страну и мой престол, а ты только поглядываешь!

– Очень сожалею, но я должен признаться в еще более тяжелой провинности: я сам распустил эти слухи, но только они ложные.

– Ты распространяешь мне во вред ложные слухи?

– Я подстроил нападение на испанское посольство, там нашли письма, они служат явным доказательством испанских козней. Но все это неправда. Все это было сделано ради блага вашего величества.

– Ты, Волсингтон, тайный католик! Стража! Возьмите его! Ты давно у меня на примете. С удовольствием погляжу, как тебе отрубят голову.

– А владельцу этой головы очень хотелось бы рассказать вам еще одну занятную каверзу, – заявил посланник, уже стоя между двумя вооруженными людьми. – Дело в том, что я только что обещал вашу руку некоему принцу, которого вы совершенно не знаете.

– Вероятно, этому д'Анжу, сыну Екатерины? – Она сделала знак страже, чтобы они отпустили посла. Раз тут замешаны брачные планы, она должна их сначала узнать.

– Боюсь, что д'Анжу был бы ошибкой. Мне ведь известно – вы не слишком высокого мнения об этих Валуа, и не без основания. Нет, это один протестантик с юга, Валуа намерены женить его на Маргарите, что отнюдь не глупо. Он мог бы выбить их из Франции.

– Но тогда они вторгнутся во Фландрию. Брак принцессы Валуа с принцем-протестантом – я, конечно, знаю с кем – означает войну между Францией и Испанией и вторжение во Фландрию. Объединенной Франции я не желаю. Пусть междоусобная война там продолжается. И я в тысячу раз охотнее увижу во Фландрии испанцев – они гораздо скорее будут обессилены своим папизмом, чем Франция, если она объединится под властью протестанта.

Чтобы лучше слышать самое себя, длинноногая Елизавета принялась крупным шагом ходить по зале. Она нетерпеливо махнула страже, чтобы те удалились; Волсингтон отступил в дальний угол комнаты, освобождая место своей повелительнице. Но вдруг она остановилась перед ним.

– Так я должна, по-твоему, выйти за молодого Наварру? А собой он каков?

– Недурен. Но дело же не только в этом. Впрочем, ростом он ниже вас.
– Я ничего не имею против маленьких мужчин.
– Как мужчины они даже выносливее.
– Ах, что ты говоришь, Волсингтон! Ведь я на этот счет совсем неопытна! Ну а с лица?
– У него лицо смуглое, как маслины, и овал безукоризненный.
– О!
– Только вот нос слишком длинен.
– Ну, в жизни это даже преимущество.
– Да, длина. Но не форма. Кончик загнут. И боюсь, со временем он загнется еще больше.
– Жаль! Впрочем, все равно. Я же не собираюсь брать себе в мужья какого-то желторотого птенца. А как он? Очень юн, да? – настойчиво допытывалась эта женщина неопределенных лет. – Ты что же – подал ему на мой счет какие-нибудь надежды? Он был, конечно, в восторге?
– Он поклонник женской красоты. Портрет великой государыни он покрыл поцелуями и оросил слезами, – усердно врал посол.

– Я думаю! А от союза с Валуа ты его отговорил?

– Я же знаю, что вы этого союза не одобрили бы.

– Пожалуй, ты не так уж глуп! Если только не предатель.

Ее тон был резок, но милостив. Посол понял, что казнь ему больше не угрожает, и низко склонился перед Елизаветой.

– Господин посол, – снова заговорила королева, наконец опускаясь в кресло, – я от вас еще жду, чтобы вы сообщили мне о переговорах между обеими королевами. Только смотрите мне в глаза! Я понимаю Жанну и Екатерину. Ведь ясно, что ни без той, ни без другой судьба Франции не может быть решена.

– Я не только восхищаюсь вашей проницательностью, она меня просто пугает.

– Я понимаю почему. Вам, вероятно, никогда не приходило на ум, что к моим послам, которые являются моими шпионами, тоже приставлены шпионы и они следят за вами.

Тут Волсингтон выказал величайшее изумление, хотя отлично все это знал.

– Сознаюсь, – смиренно промолвил он, – что я заговорил сначала о маленьком принце Наваррском, а не о его матери потому, что моя государыня – прекрасная молодая королева. Будь моим государем старый король, я бы вел с ним беседу лишь о матери принца. Ибо опасна только королева Жанна.

Он увидел по ней, что уже наполовину выиграл, поэтому в его голосе продолжали звучать сугубая преданность и проникновенность.

– Мне придется поведать вашему величеству одну весьма печальную историю, которая показывает, до чего люди коварны и лживы. Вот как бедную королеву Жанну провел один англичанин! – Казалось, посол сам потрясен до глубины души, он предостерегающе поднял руку. – Нет, не я. Мы должны всегда вести себя достойно. Это был всего лишь один из моих уполномоченных, и замысел был его. Я предоставил ему свободу действий, и вот он отправился в Ла-Рошель, где можно было наверняка застать всех друзей королевы Жанны, в том числе и графа Людвига Нассауского. Мой агент подговорил этого немца улечься в постель и разыграть тяжелобольного, так что Жанна в конце концов посетила страдальца...

Посол продолжал свой рассказ, развертывавшийся в духе шекспировских комедий; но тем бесстрастнее была его серьезность и тем больше наслаждалась королева. Уже немало посмеявшись, она заявила:

– Если этот Нассау такой болван, то нечего строить из себя хитреца. Отговаривает Жанну от брака ее сына с француженкой, когда это единственное, что могло бы помочь и немецким и французским протестантам! Значит, она так всему и поверила? Что я возьму в мужья ее сына? И что ее дочь сделается королевой Шотландской?

– Люди обычно склонны принимать слишком ослепительные перспективы за правду именно потому, что они ослепляют, – торопливо подсказал посол. Елизавета же, явно довольная, продолжала:

– Вот, значит, как обстояло дело, когда вы меня сватали за маленького Наварру? Почему же вы сразу всего этого не выложили? Неужели я должна сначала отрубить вам голову, Волсингтон, чтобы услышать от вас что-нибудь приятное?

– Тогда это бы вас меньше позабавило, чем сейчас, я же только и забочусь о том, как бы услужить моей великой государыне, даже рискую собственной головой.

– Этой вашей остроумной проделки я не забуду.

– Она родилась целиком в голове моего агента, некоего Биля.

– Так я вам и поверила. Вы хотите скромностью увеличить ваши заслуги. А все-таки не забудьте, пожалуйста, дать вашему Билю соответствующее вознаграждение. Но не слишком большое! – тотчас добавила Елизавета: она была скуповата.

Козни, западни и чистое сердце

Третьей зрелой дамой, озабоченной судьбой Генриха, была Жанна, его мать, но из всех трех лишь она одна трудилась ради него самого. Поэтому она не доверяла искренности двух других королей и полагалась только на себя. Жанна действительно навестила графа Нассауского на одре болезни, ибо ей все уши прожужжали о том, как ужасно стонет ее близкий друг. Правда, он лежал на подушках весь багровый и разгоряченный, но скорее от вина, нежели от лихорадки, так по крайней мере показалось Жанне. Все же она заставила его сначала выложить все те приятные новости, какие сообщил для передачи ей англичанин Биль, его собутыльник: о нападении на испанское посольство, о найденных там бесспорных доказательствах того, что французский двор ведет двойную игру. Жанне-де предлагают в невестки принцессу Валуа, а в то же время опять стакнулись с Филиппом Испанским. Как же может Екатерина при этом выполнить условие, поставленное Жанной, и вместе с протестантскими войсками освободить Фландрию от испанцев?

Жанна размышляла: «От кого бы ему все это знать, как не от англичан, которые и подстроили нападение на посольство?» Во время беседы Жанна пощупала у толстого Людвига лоб и за ушами и нашла, что он здоров как бык. Поэтому она велела своему хирургу войти и дать больному кое-какие целебные средства, которые ему хочешь не хочешь, а пришлось проглотить. Через короткое время бедняга ужасно вспотел: лекарство подействовало и на желудок, ввиду чего Жанне пришлось ненадолго выйти из комнаты. Когда же она возвратилась, ее жертва оказалась куда податливее и без обиняков призналась, что все сведения идут от господина Билиа, а он – бесспорный агент Волсингтона.

– Но он мой друг, – заявил доверчивый Нассау, – и вы можете верить решительно всему, что он сказал. Мне он лгать не станет.

– Милый кузен, свет и люди очень испорчены – я не говорю о вас, – снисходительно добавила Жанна.

В ответ немец-протестант, выказывая истинную и горячую заботливость, стал заклинять ее – пусть ни за что не соглашается на брак сына с француженкой. Ведь тогда ее сын опять попадет в лапы католиков, протестанты лишатся своего предводителя, сам же принц решительно ничего не выиграет, только изменит истинной вере. Да и потом – чем он будет в качестве супруга принцессы Валуа? Ведь не королем же Франции!

– А вот еще в одной стране, – и здесь Нассау сделал многозначительную паузу, – он может быть королем. И великим королем! Его сестра, ваша дочь Екатерина, мадам, тоже сделается королевой. Все это настолько послужит делу истинной веры, что уж по одному этому должно осуществиться, – добавил добряк, – и я твердо верю, что Господь Бог повелел мне открыть все это вам.

Жанна видела, что о своем Биле он уже забыл.

Людвиг говорил горячо, потом вдруг, охваченный слабостью, упал на подушки, и Жанна оставила его, поручив заботам своего врача. Ей было жаль, что пришлось столь сурово обойтись с этим честнейшим человеком, но иначе из него правды не выудишь. Ибо, к сожалению, орудием лжи служат не только люди, лишенные чести.

С последним вздохом, который слетел с его губ перед обмороком, Людвиг Нассауский успел назвать ей имена тех, кто предлагает брак и престол ее детям: Елизавета Английская и король Шотландский. Другая мать решила бы, что это, пожалуй, слишком большая удача, но не Жанна д'Альбре: она нашла ее совершенно естественной – если вспомнить высокое происхождение королевы Наваррской, успехи протестантских войск и святое достоинство истинной веры. Ей и в голову не пришло, что Елизавета, желая воспрепятствовать союзу Жанны с

французским двором, может с помощью ни к чему не обязывающих намеков сделать обманное предложение. Королева Жанна была слишком горда и не допускала мысли, что кто-то способен воспользоваться ею как средством и помешать Франции объединиться и окрепнуть.

На другой день она сказала Колиньи:

– Всю ночь я старалась выпытать у Господа Бога, в чем же его истинная воля; следует ли моему сыну стать королем в Англии или же во Франции? А как полагаете вы, господин адмирал?

– Полагаю, что мы этого знать не можем, – ответил он. – Бесспорно одно: самые ревностные гугеноты, ваши надежнейшие приверженцы, будут очень недовольны, если принц, ваш сын, вступит в союз с заклятыми врагами истинной веры. Ну а будет ли Господь Бог против этого, я не могу утверждать, – осторожно закончил адмирал.

– А он и не против, – решительно заявила Жанна. – Он открыл мне, что к этому делу я должна подойти чисто по-мирски, имея в виду единственно лишь честь и благо моего дома – а их он почитает и своими! Вот что Господь мне открыл.

Колиньи сделал вид, будто она убедила его. На самом деле он, конечно, и сам не доверял англичанам и их планам, ибо судил как солдат. Ведь английская протестантка должна была бы помочь ему освободить Фландрию от испанцев, но именно этого она делать не желала. А католический двор Франции охотно обещал ему поддержку. Поэтому адмирал был за брак принца Наваррского с Маргаритой Валуа и если приводил возражения, то лишь такие, которые бы еще больше укрепили Жанну в ее решении. Жанна твердила о том, что англичане – исконные враги их страны. Колиньи же возражал, что сейчас этой вражды нет – как будто недостаточно и того, что, женившись на английской королеве, принц терял решительно все – свою национальность, свои шансы на французский престол.

Жанна ссылалась на то, что Елизавета слишком стара, ей уже не родить сына, а ее супруг не может надеяться на личное участие в государственных делах. Колиньи заметил, что ведь существует еще сестра принца, принцесса Екатерина, у нее-то уже наверняка будут дети от шотландского короля. А он является законным наследником английского престола, если Елизавета умрет, не оставив потомства. Однако мать Генриха не стала бы и слушать его дальнейших возражений: адмирал видел это по вспыхнувшему в ней гневу. Как? Обойти ее Генриха? Принести его в жертву? Чтобы ее жизнерадостный мальчик влачил бессмысленное существование, словно унылый узник, прикованный к какой-то английской старухе? Только сейчас она поняла, насколько ужасными могут быть последствия, если она из этих двух решений изберет неправильное.

Тут нежная Жанна порывисто вскочила с места, она забежала по комнате, как забежала и Елизавета Английская, когда в беседе с послом были столь живо затронуты ее интересы. Конечно, Жанна – другое дело: она вышла из себя, лишь когда стал решаться вопрос о счастье сына. И она повелела своим вторым, необычным голосом, подобным звукам большого колокола:

– Больше ни слова, Колиньи! Позовите сюда моего сына!

Дойдя до двери, он передал ее приказ. Пока они ждали, старик преклонил колени перед королевой и сознался:

– Я приводил все эти возражения лишь затем, чтобы вы их отвергли.

– Встаньте, – сказала Жанна. – Вы, конечно, надеялись, что королева Екатерина поручит вам верховное командование во Фландрии? Впрочем, не мне упрекать вас в корысти! Если бы мой сын уехал в Англию, а дочь в Шотландию, я бы оказалась просто-напросто одинокой женщиной, которая не в силах нести на себе бремя государственных забот, и я не могла бы ждать от французских дворян ни уважения, ни послушания. Если это было моим сокровеннейшим побуждением, пусть меня судит Бог.

– Аминь, – сказал Колиньи, и оба, склонив головы, пребывали в неподвижности, пока в комнате не появился Генрих. Он вошел быстрыми шагами, слегка запыхавшись, его глаза блестели, – должно быть, он бежал за какой-нибудь девчонкой. Во всяком случае, юноша не чувствовал, подобно этим двум пожилым людям, необходимости тут же ответить перед Богом за дела и помыслы миновавшего часа. Но он сразу проникся их серьезностью.

Королева Жанна села, предложила также сесть принцу и адмиралу; она все еще не решила, с чего начать. Колиньи сделал ей знак – почтительный и вразумляющий. Адмирал хотел этим показать, что лучше, если начнет он. И так как она кивнула, он действительно заговорил первый.

Совет трех

– Принц, – начал Колиньи, – на этом совете речь пойдет о будущем нашей религии, или о будущем королевства – а это одно и то же. Здесь, и теперь же, должно быть принято великое решение, и принять его должны вы. Воля Божия будет выражена вашими устами. Прислушайтесь же к тому, что внушает вам Господь. Я, со своей стороны, готов перед этим склониться.

Жанна хотела что-то сказать. Старик почтительно, но твердо остановил ее – он еще не кончил.

– Два могущественных двора помогают вас, принц Наваррский, и знаете ли вы, сколь неизмеримо многое в судьбах века грядущего зависит от того, который из них вы выберете?

Последовавшая за этими словами пауза была сделана адмиралом не в расчете на какое-либо замечание со стороны собеседников, напротив, он хотел, чтобы у обоих дух захватило. И в самом деле, Жанна была потрясена до глубины души. Генрих отлично заметил, как под влиянием тревоги изменилось ее лицо: поэтому глаза его тотчас наполнились слезами. Рывание быстро, как мысль, родилось где-то в недрах его тела, подступило к горлу, но он сдержал его, и только глаза блеснули влагой.

Несмотря, однако, на затуманенный слезами взор и выражение глубочайшей растроганности, Генрих подумал про себя: «Ах, старый болтун! Неужели он не мог сказать все это проще? Я ведь давно знаю, что мне придется жениться либо на моей толстушке Марго, либо на старой англичанке. Нассау мне на этот счет уже все уши прожужжал. А что я буду делать в Англии? Марго – другое дело, она мне давно обещала, что я увижу ее ноги».

Колиньи наклонился к Жанне и шепнул:

– Не будем торопить его! Он получит внушение свыше.

Генрих понял, с какой тревогой ожидает от него ответа его дорогая мать. И от этого он воспарил духом и с суровой решимостью, изумившей его самого, сказал:

– Я хочу служить Франции. Я избираю истинную веру и поэтому избираю Францию.

Как только эти слова были произнесены, протестант Колиньи встал со своего кресла. Он простер руки, словно принимая самого Господа. Генрих же обнял старика! Затем осушил поцелуями слезы на лице матери.

Совет продолжался, но уже далеко не так торжественно. Они согласились, что все выгоды для них в союзе с Парижем, а не с Лондоном. Генрих даже спросил: да было ли английское предложение сделано всерьез? Может быть, этим хотели только расстроить брак во Франции? Жанне пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы допустить эту мысль, так противилось ее самолюбие. Но мудрость и рассудительность ее юного сына утешили ее гордость. Генрих заявил, что охотно уступает блестящее положение супруга английской королевы своему двоюродному брату герцогу Анжуйскому. «Все-таки одним меньше!» – тут же добавил он. Собеседники отлично его поняли. Жанна согласилась, что не следует раздражать мадам Екатерину, раз уж она вознамерилась женить герцога в Англии. Тут Жанна повторила слова сына:

– Все-таки одним меньше. – Потом заговорила, глядя перед собой в пустоту комнаты: – Сначала их было четверо. После Карла остаются всего двое. Карл же из стройного изящного мальчика сделался обыкновенным пошлым толстяком, хотя и носит сан короля. А временами у него на теле выступает кровь.

При этих словах и молодой ее собеседник и старый, насторожившись, вытянули шеи. Однако Жанна даже не посмотрела на них. Она кивнула, как женщина, которая знает, что к чему, когда речь идет о человеческом теле и совершающихся в нем процессах.

– Они истекают кровью, – пояснила Жанна, – но она не льется, а медленно сочится из пор. У всех четверых сыновей старого короля та же болезнь, и старший уже умер от нее.

– Что же, и остальные умрут? – спросил Генрих, похолодев.

Колиньи жестко ответил:

– Валуа преследуют нашу веру. Это кара.

– Они истекают кровью не потому, что они Валуа, – заметила Жанна, – это у них от матери, которая долго была бесплодна.

Мужчины выпрямились; они уже перестали понимать. Да и Жанна отыскала эту связь между явлениями лишь потому, что столько ночей не спала, терзаемая удушьем и какой-то жуткой щекоткой под черепом, во всей голове. И так как ни один врач не мог объяснить причину, ей оставалось утешаться мыслью о том, что человеческие судьбы по воле господней свершаются скрыто в телах людей еще до того, как эти судьбы станут для всех очевидными. Вот Жанне суждено пострадать и рано покинуть этот мир, после того как она родила своего избранного Богом сына. А ее подруга Екатерина, наоборот, обречена дожить до старости и видеть, что один за другим угасают все ее столь поздно зачатые сыновья. Мать Генриха и рассчитывала на это – притом с чистой совестью и без всякой жалости.

– Итак, я отвечу теперь ее послу, что не буду противиться союзу с ее домом, но она должна выполнять известные условия.

– Строжайшие, нерушимые условия, – решительно подхватил Колиньи. – Двор заявит, что он против Испании. Французские войска вторгнутся во Фландрию, и поведу их я.

– А принцесса Валуа должна стать протестанткой, – заявила Жанна; Генрих был так изумлен, что даже издал какое-то восклицание. Марго и религия! Религия и влюбленная Марго! Он не знал, куда деться, так неудержимо хотелось ему расхохотаться. Наконец он спрятался в глубокой оконной нише, опустил занавес и фыркнул, прикрыв рукою рот.

Его мать торжественно произнесла:

– Мой сын благодарит Господа за то, что его будущая супруга будет спасена.

Однако Колиньи решил, что требовать этого от Бога, пожалуй, слишком смело. И он едва не заявил вслух, что принцесса ведет недостойный образ жизни. Она находится в предосудительных отношениях с герцогом Гизом, и их связь широко известна. Как христианин он должен был бы сказать об этом, но как придворный промолчал и вместе с королевой стал ждать, пока Генрих снова не присоединится к ним. Когда тот вернулся, мать принялась уже гораздо обстоятельнее объяснять ему все опасности, связанные с этим браком.

– Помни, для них всего важнее, чтобы ты был в их руках. Основное правило мадам Екатерины – ее враги всегда должны находиться у нее в доме: а после сыновей, которые так легко истекают кровью, ты первый имеешь все права на французский престол. Я отлично понимаю, что она надеется с твоей помощью отделаться от Гизов – их род кажется ей более опасным, чем наш, – презрительно пояснила она, – и все же главное для королевы – заманить тебя к своему двору. Но этому я воспрепятствую, я сама туда поеду вместо тебя, а тогда увидим – кто кого.

Колиньи угрюмо кивнул:

– А я буду следовать по пятам вашего величества. Все наши требования должны быть приняты, иначе протестантское войско во главе с принцем Наваррским пойдет на Париж. Тогда уж никакой пощады не будет!

Юноше подумалось, что и до того пощады было маловато! Внутренним взором он увидел, как корчатся подвешенные к стропилам крестьяне, а у них под ногами пылает огонь. Но как тут возражать, если даже его дорогая, умудренная опытом мать утверждает: таков закон жизни и настоящая борьба за веру и за престол иной быть не может. Да и заслуживает ли лучшей участи мадам Екатерина и ее католики, раз даже его дорогая матушка им не доверяет?

– Мама! – воскликнул он. – Не поедешь ты туда! Они сделают с тобой что-нибудь злое! – Генрих выкрикнул это словно перепуганный ребенок. Жанна притянула к себе сына, положила его голову на свои колени и так сказала – и ему, и себе, и своему сердцу:

– Когда женщина одна-одинешенька – это самое безопасное. И если некому защитить ее – Бог защитит. Но что я перед Богом теперь? Когда-то я представляла собой нечто бесконечно важное – сосуд веры. Теперь он опустел и может разбиться.

Ей чудилось, что она говорит вслух, на самом деле она произнесла это в своих мыслях; но этими словами Жанна д'Альбре приносила в жертву свою жизнь.

Их совещание кончилось. Сын и адмирал простились с ней.

Воистину одна-единственная

Выйдя из зала, Генрих встретил своего кузена Конде и Ларошфуко – это был тоже один из тех молодых людей, с кем он позволял себе откровенничать.

– Итак, я женюсь на сестре французского короля. К тому же – это единственная должность при дворе, которая еще не занята. Там уже есть канцлер, секретарь, казначей и шут. Не хватает только роносоца – вот я им и буду.

Он подпрыгнул и рассмеялся с такой заразительной веселостью, что оба невольно последовали его примеру, хотя и были неприятно поражены его словами.

Королева Наваррская возвратилась к себе в Беарн. Стояла осень, Жанну снова посетил посланец от Екатерины, его звали Бирон – и теперь она уже не ответила ему отказом. Она только поставила самые первые, необходимые условия: бесчисленные несправедливости, содеянные по отношению к протестантам, необходимо исправить, надо очистить один город на юге, удалить из Парижа некий кощунственный крест. Она заявила напрямик, что обмануть ее не удастся, как иных прочих, столь доверчиво приезжавших ко двору!

Была осень, потом пришла зима, и лишь тогда она решительно двинулась в путь. Перед тем Жанна болела лихорадкой, ее сын упал и расшибся; казалось бы – эти происшествия должны послужить ей предостережением. Однако мать и сын все-таки распростились друг с другом: это произошло в городе Ажене, января месяца тринадцатого дня, в год семьдесят второй. Ни синева неба, ни залитая солнцем дорога – ничто не предвещало, что их прощание – последнее. Лошади тронули, колеса обитой кожей кареты покатались, еще видно было, как бледная Жанна и ее дочка Екатерина кивают и улыбаются. А сын стоял возле своего коня и смотрел то на мать, то на сестру. Он заметил, что глаза матери за последнее время еще больше ввалились, чернота под ними уже дошла до скул. Затем он увидел, как улыбка на ее лице окаменела, и понял, что она уже не различает его лица, – ведь расстояние становилось все больше, да и слезы мешали.

А брат и сестра – глаза у них были молодые – еще несколько мгновений проникновенно смотрели друг другу в глаза. Взгляд Генриха как бы говорил сестре: «Помни». И она отвечала ему: «Знаю». Он говорил: «При первом намеке на опасность сейчас же шли гонца». Она же с тоской молила: «Поскорей бы ты опять был с нами». Его глаза еще успели бросить ей вдогонку: «Береги нашу дорогую мать, береги!» Но тут карета скрылась за поворотом, и все исчезло. Пыль, поднятая последним всадником, еще стояла над озаренной солнцем дорогой, затем рассеялась и она.

В течение шести месяцев Генрих получал письма от Жанны – самые драгоценные письма в его жизни. Ибо сколько женщин он ни боготворил, скольким ни отдавал свою силу – он всегда чувствовал, что, в сущности, лишь одна-единственная действительно боролась за него и дышала ради него последними остатками своих легких.

Когда в феврале Жанна добралась до Тура, она охотно повернула бы обратно, но было уже поздно. Слушая речь тех господ, которых Екатерина выслала приветствовать ее, она сразу же поняла, что ее действительно хотят обмануть. Королева-мать и король, ее сын, тогда находились в Блуа, однако они выехали ей навстречу. И тут уж Жанна д'Альбре не желала терять даром ни одного мига своей столь драгоценной жизни: она немедленно потребовала, чтобы невеста ее сына перешла в протестантство. Самым опасным было то, что королева-мать не отказала ей напрямик. Медичи притворилась, будто даже мысли не допускает, что это говорится всерьез: просто одна из причуд, возникшая в затуманенном мозгу нервической, экзальтированной особы, которую приходится успокаивать неизменным игривым благодушием, а уж за этим у Екатерины дело не станет. Страшная старуха всегда была готова к смешкам да шуточ-

кам – в течение всей зимы и до мая, словом, все долгое время, пока они торговались в замке Блуа. Однако Жанна, чувствуя, что силы ее убывают и что она вынуждена как можно расчетливее тратить их, ни разу не потеряла самообладания, – ведь это сократило бы еще на несколько дней ее жизнь.

А старая королева все шутила:

– Послушайте, милая подружка, что будет за дело вашему ретивому петушку до того, какой веры моя хорошенькая курочка, когда он ее... – Она выговаривала эти слова громко и смачно, так что слышали другие и начинали хохотать. Если бы даже Жанна дала волю своему гневу, ей бы все равно не перекричать этот хохот. Поэтому она и сама улыбалась деланой кривой улыбкой, но в этой улыбке чувствовалось что-то совсем другое, чем в единодушной веселости остальных. Жанна изо всех сил старалась держаться с тем спокойным превосходством, которое так естественно для здоровых людей. Только бы не выдать себя, не показать, как она больна! Ведь тогда она окажется во власти врагов.

Екатерина придавала своей лжи вид шутки – тем труднее было с ней бороться. Она беззастенчиво утверждала, что воспитатель принца Наваррского сообщил ей, будто принц – что касается до него – хоть сейчас готов обвенчаться по католическому обряду, и даже заочно, пока он еще сидит у себя на юге, – настолько-де ему не терпится.

Жанна сухо ответила:

– Удивляюсь, что мне решительно ничего не известно о желаниях моего сына, а вы, мадам, так хорошо о них осведомлены!

– Он вам, наверное, тоже хотел сказать, да позабыл за своими галантными похождениями, – съязвила Екатерина и повертела толстыми бедрами – вот-вот пустится в пляс на своих куцых ножках.

А затем, когда изнемогшая Жанна удалилась к себе, страшная старуха изобразила своим приближенным все это навыворот. Жанна сама-де упрашивала, чтобы непременно взяли в зятя ее сына, – католиком либо протестантом, – все равно, только бы поскорее. К Жанне все потом приставали с этим, и протестанты гневно корили ее; а бесчисленные почтенные фрейлины Екатерины не давали королеве Наваррской покоя со своими грезами о волшебном принце, приезде которого они радовались как дети. Впрочем, эти почетные фрейлины уже никому не могли принести почета, а лишь подарить удовольствие, что они и делали по малейшему знаку своей бесстыжей госпожи. Они добросовестно выполняли возложенное на них поручение – показать чувствительной Жанне развращенность французского двора во всей наготе, чтобы тем успешнее подорвать ее силы. Едва наступал вечер, и даже раньше, королевский двор уподоблялся непотребному дому. Только Марго, невеста, держалась в стороне.

Флорентийский ковер

Мать Генриха не могла отрицать, что принцесса Валуа ведет себя вполне благопристойно, да и сложена безупречно, хотя уж чересчур затягивается. У Марго было белоснежное лицо, спокойное и ясное, как небо, – так по крайней мере выразился некий придворный по имени Брантом; но Жанна отлично умела разобраться, что здесь от жеманства, а что от белил. Тут их накладывали так густо, как, пожалуй, только в Испании. Да и придворные, конечно, преувеличивали прелести своего божества, точь-в-точь как идолопоклонники. Жанне довелось наблюдать из безопасного отдаления некую безбожную процессию, главным действующим лицом которой был отнюдь не поп и даже не епископ: предметом единодушного поклонения дворян и народа оказалась Марго, сверкающая жемчугами и камнями, осыпанная ими, как звездами, с головы до пят. Простолюдины стояли на коленях по обеим сторонам улицы. А кто шел в процессии, тому казалось, что толпа несет его. Над всей этой давкой стояло многоголосое бормотанье, похожее на молитву. Вероятно, это было кошунством.

Когда Марго вернулась в замок, Жанна попросила ее к себе в комнату, и та явилась тотчас, как была, в торжественном наряде и во всех драгоценностях. Жанна невольно отметила, что у прославленной красавицы щеки уже слегка отвисли или по крайней мере отвиснут, когда она станет чуть постарше, и что со временем это будет вылитая старуха Екатерина.

– Дорогая дочь, – начала Жанна, ласковее, чем хотела бы. – Ты красива и добра. Такой и оставайся – это мое единственное желание. Поистине, твой муж будет счастлив.

– Мне хотелось бы надеяться, дорогая матушка, что, хваля мою внешность, вы не льстите мне. Что касается моих нравственных качеств, то, позвольте признаться вам, они еще ничтожнее, чем физические. Я не получила никакого воспитания или, вернее – крайне беспорядочное.

– Говорите вы, без сомненья, очень складно, – ответила Жанна, снова обращаясь к будущей невестке на «вы».

А тем временем Марго вспомнила, как ее мать и брат в виде назидания отлупили ее за то, что она спала с Гизом. Ах, когда-то ей доведется снова испытать эти радости? Мадам Екатерина отправила его подальше отсюда, лишь стало известно, что едет свекровь. Теперь ему приказано жениться, и ее красавчик для нее потерян. У бедняжки едва слезы не выступили на глазах. Хорошо еще, что она вовремя вспомнила о своих покрашенных веках, ведь с них сошла бы вся краска, – и о гладком лице – струйки соленой влаги сейчас же проложили бы на нем бороздки. Главное – удержать первые слезы.

А Жанна продолжала:

– Мой сын – деревенский юноша, и все же он королевский сын. И он солдат, поэтому у него есть чувство чести и подлинное благородство – два качества, необходимые истинному солдату.

– Великодушие и честь – одно и то же. Я читала у Плутарха...

– И моему сыну я давала Плутарха. Он хорошо умеет выбирать себе образцы среди великих людей. Не думайте, будто он беден духом, хоть я и говорю, что он прост. Его шутки идут от живости чувств, а не от мудрствований лукавых или гробов повапленных.

Марго тут же подхватила ее слова:

– Ну да, в нем течет королевская кровь, но совершенно здоровая, а его дух не сознает своей утонченности. – Этот портрет был полной противоположностью ее самой, поэтому ей и нетрудно было его набросать. А Жанна, ошибочно полагая, что столь горячей похвалой своему сыну ей уже удалось затронуть чувства будущей невестки, неосмотрительно продолжала откровенничать:

– О! Как бы желала, милая дочь, чтобы вы, пожившись, оставили этот двор. Здесь все растленно. Бесстыдство до того доходит, что женщины сами предлагают себя мужчинам.

– А вы тоже заметили? – вздохнула Марго. – Конечно, нравы здесь дурные.

– Живите в мире и согласии, да подальше отсюда! У меня есть поместья в Вандоме, там вы будете правителями, а тут, при французском дворе, вам придется вести праздную жизнь, подражая той бесполезной роскоши, какую я видела сегодня, во время процессии, – да ста тысяч эку не хватит на такие драгоценности, которые были на иных! Но Господь хочет, чтобы ему служили по-иному, не кичились бы своей праведностью, а боролись во имя Божие! Дорогая дочь! Все мы грешны, однако протестанты преданы не только царствию земному: в этом наше оправдание; мы умеем терпеть бедность, жить под угрозой и смиренно ждать во имя свободы, а она – в Боге.

Королева Жанна наконец перевела дух, она не отрываясь вглядывалась в белоснежное лицо принцессы Марго, которая совсем закрыла глаза. А Марго в это время думала: «Да, они опасны! Моя мать совершенно права, они очень опасны. И нужно принять против них какие-то решительные меры, что, впрочем, как я сильно подозреваю, мама и намерена сделать. Только откладывает, пока под ее надежную опеку не попадет и мой Генрих, – этот деревенский паренек, честный солдат с пылким сердцем и еще кое-чем, что для меня лично гораздо важнее всего прочего». Так размышляла Марго, а Жанна в это время стиснула рукой ее колено. Своим жестом она словно хотела закрепить право на эту девушку, и вместе с тем в нем была мольба:

– Приди к нам! – Это был опять ее необычный голос, подобный звону большого колокола. – Примите истинную веру! Ты станешь счастливее, чем могла когда-либо себе представить. И наша страна познает единение и мир.

– А за чей счет? – спросила сестра Карла Девятого, все еще не размыкая век. «Конечно, это невозможно, – решила Марго про себя. – Кроме того, эта странная женщина, кажется, совсем голову потеряла. Ее рука, лежащая на моем колене, напрягается: да, она, бесспорно, оперлась на меня, а одна нога начинает подгибаться. Если я сейчас не удержу ее, она упадет мне в ноги». Принцесса торопливо схватила Жанну за кисть руки. – Мадам, вы слишком высокого мнения обо мне. Может быть, я, как вы перед тем выразились, – только гроб повапленный. Однако мой брат – король Франции. Мой отец тоже был королем, оба католики, в этой вере я выросла. Изменить тут мы ничего с вами не можем, даже если бы я и хотела. Все мои предки – короли – были католиками, и я не вижу, как бы я могла посещать ваши проповеди. Но это еще не значит, что ваш сын обязан ходить к обедне: я буду терпимой.

– Итак, ты хочешь остаться с ним при этом развратном дворе? – Голос Жанны зазвучал холодно, трезво, сейчас она сказала «ты» только из пренебрежения. Все же она подавила закипевшую в ней ненависть во имя своих высоких и неизреченных целей. Кто в конце концов эта девушка, от которой так навязчиво пахнет мускусом? И разве ее злая воля может что-нибудь задержать или изменить?

– О! – слегка вздохнула Марго и снисходительно, даже с жалостью к этой несчастной женщине, добавила: – Ваш сын, конечно, скоро научится придворным манерам. Я готова его защищать. Правда, сделаться протестанткой я не могу, но с честным, искренним протестантом мы поладим, – я это чувствую. – Она продолжала свои рассуждения, ибо принцесса Валуа умела быть красноречивой. Однако каждое ее слово было не к месту и только озлобляло мать Генриха; но этого принцесса знать не могла. Напротив, увлекшись, Марго даже приплела сюда сестричку своего жениха, незаметную девочку, о которой никогда раньше и не вспоминала. Правда, она назвала ее имя еще и потому, что дверь в соседнюю комнату или, вернее, висевший на двери ковер чуть шевельнулся. Тогда Марго сказала более громко: – Если б даже я не видела в вашем сыне, мадам, своего друга и господина, то ваша прелестная дочь завоевала бы для него мое сердце. У нас тут таких девушек не встретишь, я впервые вижу подобное создание,

и, простите за ученое сравнение, – нежный облик вашей Екатерины напоминает мне одну из царственных пастушек древности.

Вслед за этими словами действительно вошла Екатерина. Ее мать Жанна, не обратившая внимание ни на флорентийский ковер, ни на его движение, вдруг испугалась, она была готова даже поверить в сверхъестественные способности своей будущей невестки, тем более что Екатерина была босая и распущенные волосы падали волной на ее белое ночное платье. Ведь упомянутые принцессой пастушки только и могли быть такими же белокурыми и с такими же невинными личиками. Что же касается Марго, то она разыграла изумление, однако не нарушая ни вкуса, ни меры. Она просто встала и приоткрыла объятия, протягивая руки навстречу милой девочке.

А королева Жанна почуяла «гроб повапленный» и возмущенно отвела глаза – она чуть было не поверила, что перед нею действительно призрак. Ее дочь тем временем доверительно и простодушно рассказывала этой восхитительной Марго:

– Я немного кашляю, и мне сегодня велели полежать и пить молоко ослицы. Если бы вы видели, мадам, моего молочного братца, ослика, ах, какая прелесть!

– А как ты мила, моя детка! – воскликнула мадам, обняла ее и наговорила пропасть ни к чему не обязывающих ласковых слов. Может быть, Екатерине они и были приятны, что до Жанны, то она уже не слушала, она внимательно разглядывала эту чужую бездушную комнату. Везде у них одно и то же! Та же богатая роспись на стенах, те же резные лари, низкие, тяжелые потолки, кровати с занавесками и балдахин, окна в глубоких нишах; всюду словно притаился какой-то загадочный полумрак, везде какие-то западни и закоулки; в самой этой роскоши и пышности, если к ним присмотреться, чудится что-то недоброе: таковы же здесь и люди! Да, и люди – Жанна это ощутила и сама содрогнулась.

Принцесса Марго знала больше, чем Жанна. О многом она догадывалась, подслушивая разговоры, которые велись придворными, а когда шептались ее царственный брат и их мать, она невольно следила за выражением их лиц. И вот сейчас, держа в своих объятиях невинную девочку Екатерину, Марго почувствовала, как в душе у нее шевельнулось что-то ей до сих пор неведомое – может быть, совесть. А может быть, это были та гордость и то чувство собственного достоинства, для которых всякое коварство презренно. Екатерина же выводила своим дрожащим, звенящим голосом: «Вы так прекрасны, мадам, вот если бы сегодня вас видел мой брат! Будьте к нему благосклонны!»

– Да, да, – ответила Марго, но про себя добавила негодуя все сильнее: «Нельзя так! Я должна им открыть всю правду».

– Где ваша собачка, мадам? Я никогда не видела такой прелестной собачки!

– Она ваша, я дарю ее вам. – Марго выпустила девочку. «Я должна их предостеречь!» – Мне хотелось бы дать вам один совет. – Марго наклонилась к Жанне, настойчиво посмотрела ей в глаза. Впервые почувствовала она, как ей изменяют выдержка и находчивость, – уж слишком необычным было ее намерение. Марго не знала, как начать, она с трудом переводила дыхание, даже нос ее стал как будто длиннее. – Но никто не должен знать, что я вам сказала...

«Да, это зловещая роскошь, под нею что-то притаилось», – подумала Жанна. И она ответила:

– Я же понимаю, что со мной хитрят и хотят меня обмануть.

– Это бы еще ничего! Уезжайте отсюда, мадам, и как можно скорее! – выкрикнула, вернее, взвизгнула Марго – в ней говорило уже не величие души, как ей того хотелось, а лишь охвативший ее внезапный и нестерпимый ужас. И вдруг беззвучно добавила: – Нас, наверное, никто не слышит? Ну так берите вашу прелестную девочку и бегите с нею на юг, может быть, еще не поздно! Если вы хотите чего-нибудь добиться, то вам нельзя быть здесь, а уж вашему сыну и подавно!

Однако в эту, быть может, честнейшую минуту своей жизни Марго встретила со стороны Жанны только упорство и недоверие. Жанна заранее решила никаким угрозам не поддаваться. Принцессе так и не удалось вызвать на этом стареющем лице тревогу, поэтому она нерешительно потянулась к молодой в надежде, что хоть та ей поможет. Марго оторвала свой взгляд от Жанны и стала смотреть на Екатерину, но ее взгляд по-прежнему предназначался Жанне. Пусть видит, какую тревогу в светлых глазах девочки вызовет Марго силой своих черных глаз. Вот в них мелькнула догадка. А сейчас это ужас!

Однако Жанна продолжала упорствовать в своем нежелании понять принцессу, а когда увидела, что ее дочь побледнела и едва стоит на ногах, окончательно рассердилась.

– Довольно! – твердо заявила она. – Иди и ложись опять в постель, дитя мое! – И лишь после того, как Екатерина прикрыла за собою дверь и флорентийский ковер перестал шевелиться, Жанна ответила на совет и предостережение принцессы Валуа: – Поверьте, мадам, я все поняла. Вы хотели вызвать во мне колебания и страх, это вам поручено, конечно, вашей матерью. Ну так вот, расскажите ей, удалось ли вам сокрушить меня! Я же, со своей стороны, могу сообщить вам, что господин адмирал добился от короля всего, чего мы, протестанты, желали. Вам лично незачем принимать какое-либо окончательное решение относительно вашего вероисповедания, пока вы не услышите, что французский двор объявил войну Испании. И вы это услышите! Во всяком случае, мой сын и ваш жених прибудет сюда, только когда наша партия обретет полную силу.

– Ну разумеется, мадам, – согласилась Марго.

Тощая грудь королевы бурно вздымалась, когда она произносила эти горделивые слова. Но сестра Карла Девятого, вернувшись к обычному равнодушию, уже не видела причины ни для тревог совести, ни для порывов благородства. Она уже повторяла про себя, как и в начале беседы: «Да, они опасны! Они очень опасны. Моя мать права, против них надо принимать какие-то решительные меры. Но они сами себя погубят. Античный рок, да и только!» Так рассуждала эта ученая особа.

– Разумеется, мадам, – сказала Марго. – Я обдумываю ваши слова. – Глубокий реверанс. – И если окажется, что правы именно вы, тогда и ваша религия, вероятно, станет моею. Надеюсь, господин адмирал привезет сюда принца, моего жениха, чтобы мы встретились здесь все вместе. – Глубокий реверанс, пахнуло мускусом, и мадам Маргарита удалилась.

Когда Жанна открыла дверь в комнату дочери, та посмотрела на нее в упор своими голубыми, широко раскрытыми от ужаса глазами. Жанна подошла к ее кровати, и девочка, обняв мать за шею, прошептала:

– Мне страшно, мама! Мне страшно!

Письма

Потом обе написали в По, Генриху. Писались письма обычно в разных комнатах замка Блуа, и Екатерина тайком совала свое письмо нарочному, с которым отправляла письма Жанна. Мать давала сыну советы: «Почаще слушай проповеди, каждый день ходи на молитвенные собрания! Волосы зачесывай кверху, но не так, как носили раньше! Первое впечатление, которое ты должен произвести, это изящество и смелость. Однако сейчас сиди в Беарне, пока я не напишу тебе опять».

А Екатерина сообщала брату: «Мадам подарила мне прелестную собачку, потом угостила меня роскошным обедом. Она очень ласкова ко мне. Ну а если я теперь скажу тебе, милый братец, что мне все-таки страшно, я отлично знаю, что ты не поймешь меня. Прощаясь, ты наказал мне: „При первом признаке опасности – немедленно гонца!“ Признаков опасности я никаких не вижу, а письмо с гонцом все-таки шлю. „Береги ее! – приказал ты мне взглядом при нашем расставании. – Береги нашу мамочку!“ И вот на днях наша дорогая мать уедет со всем двором в Париж, где у нас столько врагов. Я, конечно, не буду глаз с нее спускать, но как бы мне хотелось, чтобы ты опять был с нами!»

В мае Жанна д'Альбре написала сыну из Парижа, где остановилась в доме принца Конде. Писала она вечером, окно было открыто, лампа мигала под теплым дыханием ветерка.

«Портрет мадам я здесь достала и посылаю тебе. Надеюсь, ты будешь доволен. Кроме наружности мадам, которая действительно очень хороша, мне здесь мало что нравится. Королева Франции обходится со мной по-скотски, твоя Марго как была, так и осталась паписткой, все мои труды пошли прахом. Одно только доставило мне большую радость: наконец-то я смогла сообщить Елизавете Английской, что твой брак с Марго – дело решенное. Сын мой, не знаю, буду ли я всегда подле тебя, чтобы оберегать от соблазнов этого двора. Не позволяй же совращать себя ни в жизни, ни в вере!»

А сестра, запершись в другой комнате, с трудом выводила: «Спешу скорее сказать тебе два слова о том, что с нами случилось сегодня. Мы ходили по лавкам – мама все покупает к твоей свадьбе. Нынче были у живописца, который делает портреты мадам, и хотели выбрать самый красивый. Вдруг перед лавкой собираются какие-то люди, поднимают крик и шум. Брань становится все более громкой и угрожающей, так что нашей охране приходится в конце концов разгонять толпу. Мама уверяет, что буянили просто парижские лодыри и от этого в Париже никуда не денешься, но я уверена, что шум был поднят из-за твоего брака. Здешний народ не желает его и на каждом шагу заводит ссоры с протестантами. Многие из дворян нашей свиты признались мне в этом, – вернее, я заставила их признаться. Ведь я уж вовсе не такое дитя, как думают. У злой старой королевы целый полк фрейлин, а у фрейлин – всюду друзья, и эти дамы их натравливают на нас, особенно же на господина адмирала, который прибыл сюда с пятьюдесятью всадниками. Мадам Екатерина в ярости, потому что господин адмирал так упорно защищает наше дело. Я не решусь сказать – так неосмотрительно, ибо я только девочка. Обо всем этом приходится писать тебе очень наспех: под окошком верховой ждет, чтобы я бросила ему письмо, да и лампа догорает, а мне нужно к письму еще приложить печать».

Пока Екатерина капала воск на конверт, на носике лампы в последний раз вспыхнул свет, и она погасла. У Жанны лампа продолжала гореть, она писала: «Колиньи настроен решительнее, чем когда-либо, и очень меня утешает. Он требует начать войну во Фландрии, и королева не в силах этому воспротивиться, хотя и уверяет, будто никто нас не поддержит – ни Англия, ни немецкие князья-протестанты. Но она в конце концов просто злая старуха, а ее сын, король, боится господина адмирала и поэтому любит его, он зовет его отцом. Когда они опять свиделись, Колиньи опустил перед королем на колени, но в мыслях своих и намерениях он сми-

ренно склонился перед Богом, а отнюдь не перед Карлом Девятым, который готов следовать во всем его воле, осыпает его милостями и уже не принимает без него никаких решений. Король подарил господину адмиралу сто тысяч ливров, чтобы тот восстановил свой замок Шатильон, который сожгли. Так господин адмирал теперь и живет. Король же остался в Блуа из-за своей возлюбленной. Господин адмирал прав: это даст нам возможность воспользоваться подходящей минутой и вырвать власть у мадам Екатерины. Пора настала, сын мой, собирайся в дорогу и выезжай!»

Вот что писала Жанна, и нарочный, беарнский дворянин, спрятал письма в надежное место, чтобы при первых проблесках зари пуститься в путь. По крайней мере, он считал, что у него на груди письмо королевы и письмо ее дочери будут в полной сохранности. Однако не успел он дойти до дома, где жил со своими товарищами, как на него напали пьяные; хотя было темно, он все же разглядел, что это люди из личной охраны французской королевы. Дворянин защищался, однако сильный удар сбил его с ног. Когда он наконец поднялся, негодяев и след простыл, а с ними исчезли и доверенные ему письма.

Они незамедлительно оказались в руках Медичи, и она вскрывала их, не коснувшись печатей. И вот, запершись на ключ в своей опочивальне, мадам Екатерина читала о тех планах, которые ее противница и та девочка невольно ей выдавали, и испытывала при этом особое удовольствие. Она испытывала его потому, что раскрытие заговоров обычно вливалось в нее новые живительные силы. Каждое злое деяние жизни и людей как бы укрепляло зло в ее собственной природе и в образе мыслей, побуждало к деятельности. Медичи сидела в своем неказистом деревянном кресле и смотрела перед собой в пустоту, а не на письма – она уже знала их наизусть; из шести обычно горевших в ее комнате восковых свечей осталось только две: другие она погасила собственными пальчиками. Жирные желтые складки ее отвисших щек и подбородка были окаймлены бледным сиянием огней, а на верхнюю часть лица падала глубокая тень, в которой ее черные, обычно тусклые глаза горели, точно пылающие угли. И какие бы картины этот взгляд, обращенный внутрь, ни созерцал, – когда она окидывала им комнату, то улавливала только смутно выступавшие из мрака детали росписи стен: там разинутый в крике рот, тут – занесенный нож. А когда сквозняк относил пламя свечи в другую сторону, выступала чувственная улыбка нимфы и протянутая к ней рука.

Мадам Екатерина размышляла о том, что вот, оказывается, судя по дерзкому письму противницы, та намерена лишить ее власти. Видно, эта сумасбродка Жанна вообразила, что уже стала здесь госпожой, что мадам Екатерина всеми покинута, а ее сын, король, – только орудие в руках мятежника, которого королевский суд приговорил к повешению на Гревской площади. «Но ведь приговор-то не отменен, милая подружка! – думала королева. – И уверены ли вы в том, что мой сын Карл иной раз не испытывает раскаяния? А если он сам не одумается, так побоится своего брата герцога д'Анжу. Этот сын – мой любимец за то, что не терпит женщин. И я угрожаю старшему вмешательством младшего. Карл знает, как быстро у нас отправляют людей на тот свет. Нет, милая подружка, что бы вы там ни вообразили, а короля Испанского я гневить не буду и отнюдь не намерена помогать голландским гезам, не то Филипп отдаст мой престол Гизам, и тогда я в самом деле пропала. С Гизами, этими свержкатоликами, я должна покончить так же решительно, как и с вами, протестантами. Но всему свой черед. Потерпите немного, дорогая подружка. Вам еще предстоит испытать кое-что весьма для вас неожиданное и удивительное. Что я сказала? Испытать?»

Мадам Екатерина была погружена в свои думы, но даже не замечала этого. В подобные минуты ее фантазия жила царственной жизнью, преодолевая страх, она дорастала до измышлений самых дерзких и гнусных. В таких случаях воображение заводит человека дальше, чем любое деяние, и все-таки деяние следует за мыслью.

Притом Екатерина вовсе не забывала о действительности, она слышала решительно все, что творилось в этот час в ее замке. Лувр закрывался и запирался наглухо в одиннадцать часов,

и уже началась беготня придворных, желавших выйти вовремя; сейчас стража прокричит в третий раз, и ворота захлопнутся. Еще гремел по всем коридорам тяжелый шаг королевских лучников, очищавших здание от тех, кто замешкался. Но едва лучники прошли, как у дверей, которые были только притворены, послышалось таинственное перешептывание – это женщины начали впускать мужчин. Мадам Екатерина отлично была осведомлена о придворных нравах и поощряла их. Когда к ней явился начальник охраны короля и спросил, какой будет пароль на эту ночь, королева ответила: «Amore»⁴.

Она дала капитану еще кое-какие приказания, но для этого заставила подойти вплотную к ее креслу и заговорила совсем тихо. В результате все шесть свечей желтого воска в ее прихожей были погашены, и ни один из больших полотняных фонарей не озарял в эту ночь своим рассеянным светом дворцовые лестницы. Когда пробило двенадцать, в спальню старой королевы вошла закутанная в плащ фигура, сопровождаемая факельщиком, и лишь после того, как офицер удалился, вошедший запер за собой дверь и распахнул плащ. Это был Карл Девятый. Мать, сидевшая на том же месте, что и много часов назад, повернула к нему массивное старое лицо, мерцающий свет упал на него сбоку, и сын содрогнулся.

– Я позвала тебя, сын мой, оттого, что время настало и прийти тебе следовало именно ночью. Пора действовать. Прочти вот эти письма.

Едва разобрав первые строки, Карл стукнул кулаком по столу. Однако на лице его отразилась не только ярость, но еще более сильное чувство – страх. Он недоверчиво взглянул на мать, как всегда – искоса. А Екатерина подумала: «Какой запущенный молодой человек! Как хорошо, что у меня есть еще двое! Мой сын д'Анжу признаёт только мальчиков! Единственная женщина, которая будет властвовать над ним, – это я. Последний сын – своевольный упрямец, с ним надо быть начеку, чтобы он не навредил мне».

– Я всегда забочусь о твоём благе, сын мой, – продолжала старуха. – Ты слишком порасатрагил свои силы в Блуа, у подружки, а теперь, чтобы спасти свой престол, тебе очень пригодятся силы твоей матери, которые ей удалось сберечь.

– Убей их! Убей их! – задыхаясь, прохрипел Карл, и жилы его угрожающе вздулись. Лицо короля не столько разжирело, сколько отекло. Борода была редкая и короткая, рыжеватые усы свисали с верхней губы, а нижняя губа, в знак глубокого отвращения к миру обычно поджатая, теперь отвалилась, ибо беднягу терзал нестерпимый страх. При словах «убей их» он невольно выставил голову из накрахмаленных брыжей, причем в его огромных ушах блеснули, закачавшись, две крупные жемчужины.

Старуха сказала:

– Господин адмирал, которого ты зовешь отцом... впрочем, зови – так мы его скорее обманем. Этот бунтовщик совершенно открыто угрожает нам, а его убогая королева с козьей рожей бросила мне в лицо, что не боится меня. «Я знаю, говорит, что вы не пожирательница детей», – вот как она выразилась. Но смею тебя уверить, на этот счет пиренейская коза сильно ошибается. У нее, например, у самой есть дети, и я как раз намереваюсь их сожрать. Девчурка написала это трогательное письмо, и братец должен непременно его получить. Тем вернее его рыцарский дух и отвага приведут его сюда, и тогда он будет служить живой приманкой для всех этих опасных гугенотов. Париж и так уж кишмя кишит еретиками, а в свите весельчака-принца их понаедет сюда целая орда. – Екатерина совсем понизила голос – до едва слышного шепота: – Тут-то мы их и сдаем. У всех этих гасконских крикунов будет одна общая шея, и отрубить ее окажется совсем нетрудно. Тише! – властно остановила она Карла, ибо тот, видимо, опять собрался завопить: «Убей их!» Впрочем, и сама мадам Екатерина внутренним взором тревожно вглядывалась в приоткрывшуюся бездну, все еще не решив, должно ли за мыслью последовать в свое время и деяние. С расстановкой, слово за словом, стала она припоминать: –

⁴ Любовь (лат.).

Герцог Альба однажды сказал мне: «Десять тысяч лягушек – это еще не лосось», а я ответила ему: «Вы, должно быть, разумеете под лососем двух людей?»

Королева-мать смотрела на сына долго и пристально, хотя он отвечал ей лишь косящим взглядом.

– Правда, и нас только двое, – добавила она внезапно, снова дав волю своему жирному благодушному голосу. Но сын до того испугался, что стал искать стул, чтобы опереться, и, не найдя, сел прямо на пол перед матерью. – Сиди, сиди! – сказала Екатерина; с этой минуты она говорила, не отрывая губ от его уха, и притом так долго, что майское утро уже забрезжило сквозь занавеси, когда король наконец ушел от мадам Екатерины.

Чтобы не было бледности

Из-за угла вышел офицер с факелом, он прождал там всю ночь, хотя, вероятнее всего, подслушивал у дверей. Карл последовал за ним, терзаемый ненавистью и страхом. Капитан, провожая его в спальню, резким окриком разбудил стражу, уснувшую в прихожей; люди повскакали со скамеек и стукнули в пол алебардами. Карл испытующе окинул своим косящим взглядом лица солдат, одно за другим, по мере того как их выхватывал из мрака свет факела. Затем ушел спать.

Однако заснуть он не мог: перед его закрытыми глазами мелькало множество лиц – все враги, враги, и среди них – последние, кого он видел: лица его собственных гвардейцев. Один раз ему представилось, будто дверь отворяется, это тянулось мучительно долго, пока он наконец не почувствовал, что глаза у него на самом деле закрыты. Тогда он осторожно приоткрыл веки: ничего, кроме бледного мигания фитиля, плавающего в масле. Но Карл уже не в силах был выносить тревожное молчание этой ночи, он встал со своего ложа, как был, в ночном белье, крадучись, проскользнул в боковую дверь, окольными путями добрался до своей прихожей. Солдаты охраны спали на скамьях, но среди них, выпрямившись и скрестив руки на груди, стоял капитан, и неожиданно появившийся король перехватил его чересчур сосредоточенный взгляд. Такой взгляд бывает только у заговорщиков. Заметив, что его накрыли с поличным, этот негодяй напустил на себя скучающий вид; но подозрения короля становились все мучительнее. Карл так и остался на пороге комнаты; сначала он оглянулся, как будто за ним шли следом его защитники, потом, сложив руки рупором, зашептал:

– Амори, я только на тебя надеюсь, ты мне друг. Но когда свет твоего факела упал на лейтенанта, я понял, что он предатель. Затей с ним ссору, и чтобы я его больше не видел! Иди во двор. Я сейчас пришлю его.

Капитан повинился, а Карл начал шептаться с проснувшимся лейтенантом. Он советовал ему не ждать драки. Бей – и делу конец! А потом кричи, как будто он напал на тебя!

Затем король проскользнул обратно в свою спальню и появился снова, лишь когда услышал, что солдаты подняли шум. «Что тут происходит? Дорогу!» – приказал он необыкновенно властным тоном. Люди позади него смолкли. Карл, вздрагивая от утреннего ветра и бушевавших в нем чувств, перегнулся через перила винтовой лестницы. В сером утреннем свете, глубоко внизу, лежало неподвижное тело. А рядом кто-то размахивал руками и звал на помощь. За спиной Карла прозвучал спокойный голос матери: «Прикажи ему замолчать, и пусть поднимется сюда». Только сейчас Карл заметил, что она выслала солдат из прихожей. Он сделал знак стоявшему внизу убийце. Тем временем мадам Екатерина, задав несколько коротких вопросов, уже успела узнать, что натворил ее неповоротливый, но своенравный сын.

– Линьероль, – обратилась она к лейтенанту, когда его голова появилась над ступеньками лестницы. – Вы оказали королю важную услугу.

– Не стоит благодарности, мадам, – беззаботно отозвался молодой человек. И тут же все выложил: – Да ведь капитан Амори был тайный гугенот, разве вы не знали, мадам? Он разгадал ваши планы относительно его партии и нынче очень был взволнован. Этой ночью я от него и узнал, какие дела предстоят. Что ж, я готов участвовать! С радостью! Превеселенькая будет резня!

Карл Девятый, который был в одной сорочке, слыша эти слова, затрясся от холода и страха. Ноги не держали его, и он прислонился к стене. Хорошо еще, что юный Линьероль стоит, вытянувшись перед ним, а мадам Екатерина с обоих глаз не спускает. Своим жирным и благодушным голосом она заявила: «Вы сегодня показали себя, молодой человек, и заслужили стаканчик. Идемте!» Переваливаясь, повела она лейтенанта в свою опочивальню, открыла

низенький приземистый шкафчик, украшенный деревянными резными конусами, и налила ему вина.

– А теперь отправляйтесь-ка спать, – сказала она, когда лейтенант допил стакан и как-то вдруг весь ослабел. – Можете сегодня быть свободным, – ласково добавила Екатерина. Но он, видно, уже не понял ее, он вышел пошатываясь.

Королева проводила его взглядом до лестницы, а он, внезапно выпрямившись, как палка, грохнулся вниз головой. Тогда Екатерина Медичи с довольным видом закрыла дверь.

– Шею он себе сломал, – добродушно заявила она. – Это нужно было, сын мой, для того, чтобы у тебя опять появился румянец на щеках. Все кончилось благополучно. И мы с тобой такие бледные, наверно, только из-за тусклого рассвета.

В тот же утренний час

В Нераке тот же утренний час розовел на цветах апельсиновых деревьев в саду, там он застиг Генриха Наваррского, который все не мог оторваться от Флеретты, семнадцатилетней дочки садовника.

– Пора, иди, мой любимый. Сейчас встанет отец – вдруг он увидит тебя здесь, что он подумает?

– Ничего плохого, сердце мое. Верный слуга моей матери не может думать, что я хочу его оскорбить.

– Но любовью ко мне ты и не оскорбишь его. Только меня ты своим отъездом очень обидишь.

– Да ведь принцу приходится разъезжать по своей стране. То он едет в ратное поле, то...

– А еще куда?

– Для чего тебе знать, Флеретта? Узнав, ты счастливей не станешь, а мы должны быть счастливы до тех пор, пока нам уже нельзя будет оставаться вместе.

– Правда? И ты счастлив со мной?

– Счастлив! Как никогда еще! Разве я видел такой восход? Он румян и нежен, словно твои щечки. Никогда его не забуду. И память о каждом цветке в этом саду сохранится в моей душе навеки.

– Заря коротка, а скоро отцветут и цветы. Я останусь здесь и буду ждать тебя. Куда бы ты ни уехал, что бы с тобой ни случилось, помни обо мне – и о комнате, в которой благоухало садом, когда мы любили друг друга, и о моих губах, которые ты...

– Флеретта!

– Сейчас в последний раз поцеловал. Теперь иди, не то за тобой придут сюда, а я не хочу, чтобы другие видели твой прощальный взгляд!

– Тогда опустим наш последний взгляд в колодец. Пойдем, Флеретта! Обними меня за шею! А я обниму твой стан! Теперь мы оба смотримся в зеркало воды, и в нем встречаются наши глаза. Тебе семнадцать лет, Флеретта.

– А тебе восемнадцать, любимый.

– Когда мы станем совсем стариками, этот колодец все еще будет помнить нас, и даже после нашей смерти.

– Генрих, мне уже ни видно твоего лица.

– И твое померкло внизу, Флеретта.

– Но я слышала, как упала капля. Это была слеза. Твоя или моя?

– Наша, – услышала Флеретта его уже удалявшийся голос; а она еще отирала слезы. – Флеретта! – донесся до нее последний зов Генриха; затем он скрылся с глаз, и она почувствовала, что этот зов относится уже не к ней: возлюбленный посылал имя этого миновавшего часа часу грядущему, который ей неизвестен и в котором скоро затеряется легкий звук ее имени.

Генрих сел на коня. Майский ветер приятно обдувал его высокий прямой лоб и слегка вдавленные виски и приподнимал пряди русых кудрей. В комнатухе у девушки он не успел их пригладить, и они легли мягкой волной. Пока он не отъехал метров на сто, в его ласкающих глазах еще лежал, как тень, след прощания, затем скачка прояснила их. Во рту он держал цветок: это все еще была Флеретта. Когда Генрих присоединился к своим спутникам, он выронил цветок.

А Флеретта, дочка садовника, семнадцати лет, принялась за свою обычную работу. Так она работала еще в течение двадцати лет, потом умерла; в то время ее любимый был уже великим королем. Она его больше не видела – только один-единственный раз, могущественным

государем, когда он по воле загадочной судьбы возвратился в свой родной Нерак, чтобы снова изведать счастье, но уже с другими. Почему же люди все-таки утверждали, что она умерла из-за него? Со временем они даже отодвинули ее смерть в далекое прошлое, на тот день, когда он покинул ее, и рассказывали, будто она бросилась в колодец – тот самый, над которым оба однажды склонились, – когда ей было семнадцать, а ему восемнадцать лет. Откуда пошел этот слух? Ведь в то мгновение их же никто не видел!

Иисус

Генрих все еще ехал по своей стране, как и полагается князьям: они едут либо в ратное поле, либо к невесте. Генриху Наваррскому предстояло жениться на Маргарите Валуа, и для этого надо было совершить длинный путь из его Гаскони в Париж. Однако бедра у него были крепкие. Всадники по четырнадцати часов и больше не слезали с седла, но из-за лошадей все же надо было останавливаться на отдых, ибо у юношей не всегда водились в кошельках деньги для покупки новых: пришлось бы потихоньку уводить коней прямо с пастбища.

Впереди обычно скакал Генрих, окруженный своей свитой, а за ними следовали еще многие. Он никогда не оставался один. Да и никто не оставался один в этом отряде, кругом слышался непрерывный топот копыт, стоял запах конского и людского пота, преющей кожи и сырого сукна. Не только белый жеребец Генриха нес его дальше и дальше, – вся сомкнувшаяся вокруг него кучка его молодых единомышленников, тоже искавших приключений и таких же благочестивых и дерзких, как он, увлекала его вперед с неправдоподобной быстротой, – прямо как в сказке мчали принца его товарищи из деревни в деревню. Распускались на ветках деревьев белые и алые цветы, из голубой небесной дали веяло мягким ветром, молодые удалыцы шутили, спорили, пели. Иногда они делали привал, поедали груды хлеба, красное вино словно само собой лилось в глотки, такое же родное, как здешний воздух и земля. Девушки с золотистой кожей приходили и садились на колени к смуглым юношам. А те заставляли их визжать или краснеть, – одни, обняв слишком смело, другие – прочитав столь же дерзкие самодельные вирши. В пути они частенько спорили между собой о религии.

Всем, кто окружал Генриха, было не больше двадцати лет или около того, все они были полны задорного упрямства, не желали признавать ни земных установлений, ни сильных мира сего. Властители, уверяли юноши, отвратились от Бога. А Господь Бог смотрит на все совсем иначе, и образ мыслей у него примерно такой же, как у них, двадцатилетних юнцов. Поэтому они были убеждены, что их дело правое и что им сам черт не брат, а уж французского двора они боялись меньше всего. Пока отряд еще ехал через южные провинции, к нему навстречу выходили старики-гугеноты и, воздев руки к небу, заклинали принца Наваррского остерегаться врагов и беречь себя. Он знал, что долгий опыт сделал их недоверчивыми. «Но, дорогие друзья, теперь все пойдет по-другому. Я ведь женюсь на сестре короля. Вам будет дана свобода веры, вот вам мое слово».

- Мы восстановим свободу! – кричали всадники вокруг него.
- И власть народа!
- И право! И право!
- А я говорю: свободу!

Это слово звучало всех громче. Вооруженные и воодушевленные им, скакали они толпой на север. Многие, быть может большинство, представляли себе дело так, что вместо тех, кого они сейчас называли свободными, власть и наслаждения будут вкушать они сами. Генрих вполне понимал этих людей, он умел распознавать их среди прочих и, пожалуй, даже любил – ведь с ними было легко. Однако не они были его друзьями. Друзья – народ тяжелый, всегда чувствуешь себя с ними как-то натянуто и начеку, и всегда нужно быть готовым дать в чем-то ответ.

– А в целом, – говорил Агриппа д'Обинье, ехавший рядом с Генрихом в толпе его спутников, – ты, принц, являешься только тем, чем тебя сделал наш добрый народ, потому и можешь быть выше его, ибо творение иной раз выше художника, но горе тебе, если ты станешь тираном! Против явного тирана сам Господь Бог дает все права самому ничтожному чиновнику.

– Знаешь, Агриппа, – отозвался Генрих, – если это так, то я буду добиваться места самого ничтожного чиновника. Но только, поверь, это измышление пасторов, король остается королем!

– Ну тогда радуйся, что ты всего лишь принц Наваррский.

Д’Обинье был коротышка, его голова почти не выступала над головою лошади, Генрих и то был выше. Когда Агриппа говорил, то подкреплял свои слова решительными взмахами руки; пальцы у него были длинные, а большой палец на одной руке искривлен. Рот широкий и насмешливый, глаза смотрели на все с любопытством; будучи вполне мирским юношей, он, однако, в тринадцать лет решительно воспротивился, когда из него захотели сделать католика, а в пятнадцать уже сражался за истинную веру под началом Конде. Восемнадцатилетний Генрих и двадцатилетний Агриппа были давние товарищи, они сотни раз уже успели поспорить друг с другом, сотни раз мирились.

Он ехал справа от Генриха. Слева вдруг раздался звучный и строгий голос, читавший стихи:

О короли! Во власти ослепленья
Всегда вы кровь готовы проливать,
Чтоб ваши приумножились владенья
Ценою этой страшной хоть на пядь.
Состроив добродетельную мину,
Торгуют судьи правдой и добром.
Едва ли впрок пойдет наследство сыну,
Коль вором был отец и подлецом⁵.

– Друг дю Барта, – заметил Генрих, – откуда у такого добродушного петушка, как ты, берутся столь ядовитые стихи? Да от тебя девушки бегать будут!

– Я и не им читаю. Я читаю эти стихи тебе, милый принц.

– И еще судьям. Смотри, дю Барта, не забудь про судей! Не то останутся тебе для обличения только твои злые короли!

– Вы злы от слепоты, да и все мы, люди. Пора нам исправиться. Забыть о девушках – это мне пока не по силам, но от любовных стихов я совсем хочу отучиться. Буду впредь сочинять только духовные.

– Ты что же – умирать собрался? – спросил молодой принц.

– Я хочу когда-нибудь пасть в битве за тебя, Наварра, и за царствие Божие.

После этих слов Генрих смолк. Стихотворение «О короли! Во власти ослепленья...» осталось у него в памяти, и он втайне решил, что никогда не будут из-за него люди лежать убитыми на поле боя, платя своей жизнью за расширение его королевства.

– Дю Барта, – вдруг приказал он, – а ну-ка выпрямись в седле, как только можешь! – Верзила-дворянин повиновался, и принц посмотрел на него снизу вверх, не только насмешливо, но и с восхищением. – Тебе там сверху еще не видно прелестной мадам Екатерины со всем ее непотребным домом? Ведь ее распрекрасные фрейлины ждут вас не дождутся.

– А тебя, скажешь, не ждут? – спросил Агриппа д’Обинье, многозначительно подмигнув. – Впрочем, нет, ты же теперь добродетельный жених. Но, насколько мы тебя знаем...

Тут все расхохотались. А Генрих громче всех. Сзади кто-то крикнул:

– Будьте осторожны, господа! Любовные приключения с фрейлинами, как известно, уже многих наградили таким подарком, которого они не забудут до своей блаженной кончины.

⁵ Перевод Вл. Микушевича.

Молодые люди рассмеялись еще веселее. Но в это время какой-то человек протиснулся к принцу и поехал рядом с ним, оттеснив остальных. Всадник не обращал никакого внимания на то, что его возмущенные спутники были готовы тут же наброситься на него с кулаками. У этого юноши лицо было особенно выразительным, но оно казалось слишком маленьким, так давил на него огромный лоб. Глаза эти много читали, и их взгляд уже был скорбен, хотя господину Филиппу дю Плесси-Морнею шел всего двадцать четвертый год, а было ему суждено прожить семьдесят четыре.

– Я только что слышал веление Божие! – возвестил он, обращаясь к принцу. – Господь приказал мне обратиться с речью к Карлу Девятому, и пусть эта речь побудит его объявить свободу вероисповедания и подняться на защиту Нидерландов от Испании.

– Лучше уступи свою речь господину адмиралу, – посоветовал Генрих. – Он-то заставит себя выслушать. Нас они еще не боятся. Но, надеюсь, скоро будут бояться.

Генрих и дю Плесси могли беседовать друг с другом не таясь, ибо ехавшие вокруг них молодые люди увлеклись перечислением всех удовольствий, ожидавших их при французском дворе. Говорилось вслух и об опасностях, приводились примеры. Упомянуто было также название той болезни, которой все так боялись. Тут Морнеем овладело великое воодушевление, и он воскликнул:

– Пусть я заражусь! Но Карл Девятый все-таки даст нам свободу веры!

– Ну, тогда ты будешь выглядеть довольно постыдно!

– Все мы выглядим довольно постыдно. Это все пустяки в сравнении с вечностью. Разве и наш Иисус не такой же опозоренный человек, распятый Бог, а мы все-таки в него верим! Верим в его учеников, в этих подонков человечества, и к тому же – евреев! Что он оставил после себя, кроме жалкой женщины, постыдного воспоминания и славы глупца, каким его почитали сородичи? И если императоры боролись против его учения мечом и законом, то как же боролся каждый в собственной душе с самим собой! Боролась плоть против духа! И все-таки народы покорились слову немногих мужей, и царства поклоняются – кому же? Какому-то распятому Иисусу. Иисус! – воскликнул Морней так горячо, что все прислушались и посмотрели вокруг – с какой же стороны явится тот, кого он призывает. Ибо ни один из них не сомневался, что Иисус явится к ним и будет с ними, когда придет час, его час.

Для них все чудеса его были свежи, язвы кровоточили, и неудержимо лились слезы из глаз обеих Марий. Голгофу они видели отсюда своими земными очами – оголенный, тусклый холм, а позади клубятся темные тучи. Гугеноты ехали среди Иисусовых маслин и смоковниц, они сидели однажды вместе с Иисусом на браке в Кане Галилейской. Его история сливалась с их действительностью, они впервые ощущали его как часть самих себя. Он был такой же, как и они, – только своей святостью превосходил он их и, как дерзнул выразиться дю Плесси-Морней, своим позором. И если бы сын человеческий вдруг появился из-за ближайшей гряды скал, чтобы повести их за собой, – он, конечно, ехал бы не на смешном и нелепом осле, а на статном боевом коне и сам был бы в колете и панцире, а они окружили бы его и кричали: «Сир! В прошлый раз вас победили враги, они распяли вас. На этот раз, с нами, победите вы! Убивайте их! Убивайте их!»

Так воскликнули бы в этой толпе гугенотов люди обыкновенные и немудрящие, увидев перед собой живого Иисуса из плоти и крови. На место иудеев и римских воинов прошлого они бы теперь поставили современных им папистов и прежде всего постарались бы за их счет обогатиться. Однако не таким простым представлялось все это Генриху и его ближайшим друзьям. Когда они думали о возможном появлении Христа, их охватывали сомненья. Дю Барта спрашивал своих спутников, можно ли, если бы Иисус вернулся и все началось сызнова, посоветовать ему не идти на распятие, если оно было predetermined и должно было послужить спасению мира. Долговязая фигура юноши сторбилась, ибо никто ему не ответил. Дю Плесси изобразил еще более яркими красками то, что он называл позором распятого, но в чем, однако,

и была сила его и слава. Морнея, несмотря на его сократический склад, тянуло ко всяким крайностям, и он чувствовал себя при этом столь хорошо, что дожил до семидесяти четырех лет. Беднягу же дю Барта оскорбляли людская слепота и низость, а также невозможность что-либо улучшить в мире или узнать, как это сделать; по этой причине ему и суждено было рано умереть, хотя он погиб в грохоте сражения. Что же касается Агриппы д'Обинье, то его охватил неудержимый творческий порыв в тот самый миг, когда дю Плесси так горячо призывал Иисуса. С этой минуты Агриппа начал сочинять и, кажется, был бы готов, если Иисус явится очам смертных, приветствовать и его в стихах. Все, что позднее было создано Агриппой, родилось из того часа, от того огня. Это наполняло его счастьем, и этим он нравился своему принцу. С другой стороны, Генриха привлекал и дю Барта с его беспредельной верностью. И его пленял дю Плесси с его склонностью к крайностям.

Однако в душе Генрих сознавал, и притом гораздо глубже остальных, что, говоря по правде, на общество Господа нашего Иисуса Христа ему и его товарищам едва ли можно рассчитывать. По его мнению, надежды на такую честь у них было не больше, чем у католиков. Никто ведь еще не доказал ему, что Господь предпочел именно протестантов, хотя они, вероятно, и любили его сильнее. Но, невзирая на эти таившиеся в нем сомнения, он разделял все чувства своих сотоварищей. После призыва к Иисусу слезы выступили на глазах и у Генриха. Однако он не был уверен, что они действительно вызваны мыслями о господе. Пока они закипали в груди и поднимались к горлу – еще может быть. Но когда они блеснули на глазах – уже нет. Лик Иисуса заслонился образом Жанны, и Генрих заплакал потому, что никогда еще мать, представ внутреннему взору сына, не казалась такой бледной. В сопровождении своих пасторов, которые всюду проповедовали, много лет ездила она по стране, не имея куда приклонить голову, как Иисус; подобно ему, терпела ненависть и презрение, изменчивость боевой удачи и опасности; как он, бежала от врагов – она, женщина, его дорогая мать. Это был тяжкий путь, и она шла им ради истинной веры. Может быть, сейчас он уже привел ее на Голгофу. Ибо в конце концов она все же была в руках Екатерины, так как господин адмирал распустил протестантское войско и только угрожал старой королеве. И до тех пор, пока новый поход не принесет ей новых опасностей, повелевала Екатерина. Даже путешествие в Париж, к невесте, Генрих совершил по ее приказу: на этот счет он себя не обманывал. Он умел трезво смотреть на жизнь. Колиньи могла отвлечь его вера, Жанну – высокое упорство, но Генриха трудно было обмануть.

Ее новое лицо

Он прятал письма матери на груди, и ему очень хотелось снова их все перечитать, а также и письма его сестрички. Но Генрих жил единой жизнью со своим отрядом. Быстро мелькали дни при ярком свете солнца и ночи при звездах, и он никогда не бывал один. Они ехали не одну неделю, природа уже стала северной, но теперь это не поражало Генриха. Сколько принц Наваррский себя помнил, под копытами его коня всегда бежала земля его королевства, ибо, когда он ехал верхом, оно тоже не оставалось на месте: оно жило, стремилось вперед, несло его с собой. И ему казалось, что такое движение не имеет ни начала, ни конца: он не всегда ощущал его лишь как собственное движение – нет, это текло своим путем само королевство, в темные, загадочные судьбы которого Генриху предстояло вмешаться. А где-то на его пути залегла ночь под кронами деревьев и подстерегала его.

– Агриппа, скажи по правде, что нас ожидает при французском дворе?

– По правде? – повторил д'Обинье. – Между прочим, твоя свадьба, которую, вероятно, отпразднуют с большой пышностью... А если тебе уж так хочется знать, то все страдания святых мучеников.

– Ты говоришь – все, потому что сам не знаешь, какие именно?

– Так оно и есть, Генрих. Ведь и ты испытываешь странное предчувствие в тот час, когда над нами кружат летучие мыши и светляки. При свете дня оно исчезает.

Они говорили шепотом. Все это не предназначалось для посторонних ушей.

– Мы ночуем сегодня в деревне?

– В Шонее, мой принц.

– Шоней в Пуату. Хорошо. Там я приму решение.

– Насчет чего?

– Ехать ли дальше. Мне нужно в тишине посоветоваться с самим собой и спокойно перечитать письма королевы, моей матери. Позаботься о том, Агриппа, чтобы у меня наконец была отдельная комната.

Но после того, как они угощались в течение двух часов, сидя за длинными столами перед харчевней в Шонее, принц Наваррский уже не помышлял об уединении, – напротив, он сделал знак какой-то пышнотелой девице, чтобы она поднялась впереди него по лестнице или, вернее, по стремянке, ведущей на чердак. Приближаясь к этой лестнице, он услышал неистовые вопли: особенно выделялся басовитый голос какой-то бабищи, которая, вытащив другую, жалобно визжавшую женщину из каморки, волокла ее вниз. Кто-то светил им огарком, стоя возле лестницы, – оказалось, Агриппа д'Обинье. Видимо, он-то и позвал мать девицы и выдал своего друга Генриха; но он ничуть не был смущен, а наоборот, смеялся. Генрих сейчас же выхватил кинжал из ножен.

– Ах ты! – гневно накинулся он на приятеля.

Что же делает стихотворец Агриппа? Он вырывает одну из перекладин лестницы, словно желая воспользоваться ею как оружием. Лестница шатается, обе женщины с воплем прыгают вниз, падают на мужчин и сбивают их с ног. Тут уж Генрих думает только о том, как бы выбраться из свалки. Это ему удастся, но огарок погас, и его обступает глубокий мрак. А где же остальные? Исчезла даже лестница! Наконец он ошупью нашел выход из харчевни и уснул в кустах, сквозь которые блестели звезды.

Когда Генрих проснулся, стояло раннее июньское утро – тринадцатый день месяца; ему было суждено навсегда запомнить этот день. Жаворонок, заливаясь песней, вспорхнул с поля в еще бледную синеву неба. Над головой принца благоухала сирень, неподалеку журчал ручей, трепещущие тополя заслоняли от него деревню. Свежесть утреннего часа настроила его безза-

ботно, он прошелся вдоль тополей быстрым легким шагом, раз, другой, третий – просто чтобы подышать этим воздухом и порадоваться началу дня. Но потом он все же вспомнил о письмах, которые намеревался перечитать и обдумать. Юноша остановился, вытащил их из-за пазухи и пропустил между пальцами, словно колоду карт. А зачем читать? Все ведь сводилось к тому, что он должен жениться на толстухе Марго, на «мадам», как ее почтительно называла сестренка. В этом вопросе обе дамы – Екатерина и Жанна – оказались в кои-то веки одного мнения, а дальше видно будет, справится ли господин адмирал с ядосмесительницей, останется ли моя супруга паписткой и попадет ли за это в ад! «Весьма сомнительно, – размышлял он. – Я и сам не раз становился католиком и уже был готов для геенны огненной. Все может случиться, заранее не угадаешь. Одно можно сказать наверное: ни за что моя строгая мать – гугенотка – не допустила бы у себя при дворе такой распущенности, когда женщины сами зазывают к себе мужчин. Об этом она и пишет, ее слова я наизусть запомнил».

Вот тут-то оно и случилось: он вдруг увидел перед собою мать – но совсем иначе, чем обычно видит внутренний взор; несравненно яснее предстало перед ним лицо королевы Жанны – в каком-то пространстве, которое не было, однако, сероватым воздухом утра. Внутри у него вспыхнул гораздо более резкий, яркий и страшный свет, и в нем Генрих увидел мать уже уснувшей. Это не были запомнившиеся ему черты живой Жанны, когда громоздкая, обитая кожей карета увозила ее, а он смотрел ей вслед, стоя подле своей лошади: нет, ввалившиеся щеки и тени – душераздирающие тени, подобные тоске обо всем, что утрачено, они окутывали ее всю, такие прозрачные, будто под ними скрывалось Ничто. О большие глаза, уже не гордые, любящие или гневные, какими вы были когда-то! Наверно, вы меня уже не узнаете: хотя и увидели столь многое, чего мы здесь пока еще не видим!

Сын упал на поросший травой холмик: всего за минуту перед тем у него было так легко на сердце, и вот он уже охвачен смертельным страхом – не только потому, что у его дорогой матушки было это новое лицо, но главное оттого, что оно уже являлось ему во сне, он сейчас вспомнил когда: четыре ночи тому назад... Продолжая сидеть на холмике и машинально тасовать письма, Генрих считал, думал, и сердце его сжалось. Случайно взглянув на письма внимательнее, он заметил, что два из них, очевидно, были вскрыты тайком еще до того, как он сломал печати! Четыре ночи тому назад? Едва заметный надрез вокруг печатей был сделан весьма искусно, потом сверху накапали воску, чтобы все скрыть. Но почему мать явилась четыре ночи назад – и вот опять, только что?

Последняя строка в последнем письме была: «Пора настала, сын мой, собирайся в дорогу и выезжай». И тогда он вдруг понял, что королева Жанна хотела отнять власть у мадам Екатерины, а Медичи прочла ее письмо. «Моей дорогой матушке грозит смертельная опасность!» Он вдруг понял это, мгновенно вскочил с холмика, побежал между тополями.

– Д'Арманьяк, – крикнул он, увидев своего слугу раньше, чем тот его. – Д'Арманьяк, сейчас же на коней! Я не могу терять ни секунды!

– Но, господин мой! – решился возразить слуга. – Все еще спят на сене, и хлебы еще только сажают в печь.

Непреложные факты обычно сразу же успокаивали Генриха. Он уступил:

– Ну что ж, до Парижа все равно еще ехать пять дней. Я хочу искупаться в ручье. Принеси мне, д'Арманьяк, чистую сорочку.

– Я как раз нынче хотел ее выстирать. Я полагал, что здесь мы отдохнем. – И слуга-дворянин подмигнул своему господину. – Особенно по случаю свалившейся лестницы. Нам следовало бы ее опять приставить да наверстать упущенное.

– Негодяй! – воскликнул Генрих, искренне возмущенный. – Я и без того извальялся в соломе. – Затем резким тоном приказал: – Когда я вернусь с купанья, чтобы все лошади были оседланы. – И тут же побежал к ручью, на ходу сбрасывая платье. Потом отряд действительно пустился в путь; но не прошло и четверти часа, как они увидели, что им навстречу скачет во

весь опор гонец, он подъехал, не спрыгнул, а свалился с коня и, став на ноги, пошатнулся; кто-то поддержал его за спину, а он прохрипел: – Я... из Парижа... в четыре дня вместо пяти. – Лицо его пошло белыми и багровыми пятнами, язык вывалился изо рта, и, что казалось еще более тревожным, из широко раскрытых, смятенных глаз выкатились крупные слезы. И такая тишина воцарилась вокруг гонца, что было слышно, как они падают на его колени.

Генрих, сидя в седле, протянул руку, взял поданное ему письмо, однако и не подумал вскрыть его; напротив, рука его бессильно повисла, он опустил голову и сказал среди великой тишины раскинувшихся вокруг просторов, с затерянной в них горсточкой людей, сказал вполголоса:

– Моя дорогая матушка умерла. Четыре дня тому назад. – Он обращался к самому себе, остальные это ясно почувствовали. И они сделали вид, что не слышат, – пусть сообщит громко; бережность и чуткость выказали даже самые отчаянные буйаны. Наконец новый король Наваррский прочел письмо, снял шляпу, и все тоже сняли; и тогда он сказал им: – Моя мать, королева, скончалась.

Иные из его спутников переглянулись, на большее они не отважились. Подобное событие не из тех, с которыми легко примиряешься, оно влекло за собой величайшие перемены: перемены ждут и их самих, но какие – они еще не знали. Жанна д'Альбре воплощала для них слишком многое, она не смела умирать. Она вела их вперед и кормила их. Она помогала им добывать хлеб, который растет на пашнях, и хлеб вечной жизни. Наши свободы! Жанна д'Альбре добивалась их для нас! Наши крепости! Хотя бы Ла-Рошель на берегу океана – она их для нас завоевала! Наши молитвенные дома на городских окраинах – она их сохранила; мир в наших провинциях, наши женщины, возделывающие поля под покровом господним, пока мы скачем на конях в ратное поле и бьемся за веру, – всем этим была Жанна д'Альбре! Какая же судьба постигнет нас теперь?

Эта мысль сменилась ужасом, затем гневом, и сейчас же неудержимо вспыхнуло подозрение, что кто-то в этом повинен, что тут действовала рука преступника, ибо столь великое несчастье не может совершиться само собой. Покойница мешала сильным мира сего, и вполне ясно, кому именно. В этом растерявшемся отряде люди понимали друг друга без слов, у них были одни и те же мысли и чувства. В толпе слышались отдельные бессвязные возгласы, как будто их издавал спящий, лишь постепенно они становились громче, сливались в гневный ропот, угрожающе нарастали; и наконец из кучки гугенотов вырвались слова, словно кинжал, выхваченный из ножен, словно кто-то их произнес со стороны, другой вестник, незримый:

– Королеву отравили!

Все наперебой стали повторять их, каждый произносил вслух, как бы вслед за незримым вестником:

– Отравили! Королеву отравили! – И сын умершей повторил их вместе со всеми, и он получил эту весть, как остальные.

И тут произошло нечто неожиданное: юноши протянули друг другу руки. Они не стоваривались, но это была клятва отомстить за Жанну д'Альбре. Ее сын схватил руки своих друзей – дю Барта, Морнея и д'Обинье. С Агриппой он объяснился, сжав его пальцы и как бы желая сказать: «Вчера поваленная лестница, возня с женщинами, а сегодня вот это. В чем же мы можем упрекнуть друг друга, в чем раскаиваться? Такова жизнь, и мы пройдем через нее рука об руку». И своего слугу д'Арманьяка, которого он перед тем так разбранил, Генрих тоже взял за руку. В это время чей-то голос начал:

– Явись, Господь, и дрогнет враг!

Сначала пел один Филипп дю Плесси-Морней, ибо среди всех он был наиболее склонен к крайностям, в его душе обитала слишком неугомонная добродетель. Но когда он повторил первую строку, к нему присоединилось еще несколько голосов, а вторую уже пели все. Они спешили, молитвенно сложили руки и пели – горсточка людей, которой не видел никто, кроме,

быть может, Господа Бога, – ведь ему они и воссылали этот псалом; пели, как будто звонили в набат, воссылая ему псалом!

Явись, Господь, и дрогнет враг!
Его поглотит вечный мрак.
Суровым будет мщенье.
Всем, кто клянет и гонит нас,
Погибель в этот грозный час
Судило провиденье⁶.

⁶ Перевод Вл. Микушевича.

Ее последний вестник

Они допели до конца, потом смолкли, ожидая слова своего юного вождя. Ведь он стал королем Наварры, здесь, на этой чужой проезжей дороге, и должен им сказать: куда теперь ехать, что делать. Дю Барта наклонился к Генриху, проговорил вполголоса:

– Ваша мать погибла первой. Вторым будете вы сами. Поверните обратно!

– Соберем наших единомышленников! – посоветовал ему Морней. – Ревнителю истинной веры сбегутся к вам со всего королевства. Мы двинемся на этот преступный двор, и никто нас не одолеет.

Д'Обинье же сказал гораздо спокойнее:

– Вам нечего бояться за себя, государь, пока жив хоть один из этих людей... – Эти люди смотрели на него, и он продолжал: – Старик пожертвовал ради нашего дела всей своей жизнью, я знаю, я слышал, что говорил ночью адмирал своей супруге. – И, точно он был ясновидцем, Агриппа стал повторять слова Колиньи, сказанные им жене.

Так как д'Обинье был поэтом, он мог поведать о ночной беседе супругов так, будто сам присутствовал при ней.

– Уверена ли ты, что никакие испытания не могут тебя поколебать, – спрашивал Колинья супругу, – положи руку на сердце, проверь себя, останешься ли ты твердой, если даже все отпадут и тебе придется с позором, который обычно идет вслед за неудачей, удалиться в изгнание? Смотри! Даже король Наваррский готов отступить – он женится на родной дочери той, кто наш главный враг.

Тут уж Генрих не выдержал. Он вскипел:

– Не мог адмирал этого сказать! А если ты, Агриппа, считаешь, что мог, значит лжет твоя муза! Я тверд в нашей вере – а теперь едем дальше!

Но этого-то и хотел Агриппа, считая, что спокойных убежищ на свете нет, и чем больше его внутреннее прозрение открывало ему опасности человеческой жизни, тем решительней поэт устремлялся вперед.

Всадники снова двинулись в путь под затянутым облаками небом. Но вскоре дорогу их преградили какие-то люди с воздетыми руками. И все твердили одно и то же: «Королеву Жанну отравили». Однако никто не мог объяснить, откуда это стало известно. Под конец всадники уже перестали спрашивать, кто они, из какой деревни. Достаточно было того, что они идут бог весть сколько времени, чтобы увидеть нового короля Наваррского и поведать ему то, что знают. Многие уже так устали, что их первоначальный гнев угас и они в страхе бормотали как заклинание те же зловещие слова.

Даже на самых беззаботных искателей приключений подобные встречи оказывают свое действие. А тут произошла еще одна, решающая. На лесной опушке они неожиданно столкнулись с дворянином – неким Ларошфуко, все его отлично знали, он был другом их короля. И этот дворянин тоже имел измученный вид человека, проскакавшего в четыре дня тот путь, на который нужно пять. Всего несколько слов сказал он юному королю, но Генрих сейчас же натянул поводья и повернул обратно. Тогда повернул и весь отряд и, ни о чем не спрашивая, в глубоком молчании возвратился в Шоней.

Приехав туда, Генрих прежде всего отыскал уединенное тенистое местечко под сенью тополей и приказал Ларошфуко, гонцу его матери, в точности все ему поведать. Последние земные мысли умирающей Жанны, перед тем как ее дух вознесся к Богу, были о сыне. Она не хотела, чтобы он из страха отказался от своего путешествия: об этом и речи не было. Однако она продолжала считать, что ему или совсем не надо ехать в Париж, или он должен явиться только как сильнейший.

Ее совет был подсказан опытом последних месяцев, а этот опыт был тяжел и горек. Она полагает – и чтобы высказать эту мысль, королева еще раз нашла в себе силы для своего необычного голоса, похожего на звон колокола, – что свадьба ее возлюбленного сына послужит началом решающих событий, но они могут стать решающими либо для него, либо для его врагов. Последние свои помыслы она мужественно устремила навстречу всем опасностям жизни и на то, как их победить. Были времена, или ей казалось, что были, когда порок все же пугливо прятался от людских глаз. А сейчас – так велела она передать своему Генриху – порок дерзко поднял голову и глумится над добродетелью. Затем, уже в предсмертные минуты, она, обращаясь к Богу, произнесла слова псалма:

Явись, Господь, и дрогнет враг!

Последний вестник извлек ее завещание и, коснувшись его губами, вручил королю. Однако в нем она не обмолвилась ни словом о своих сокровеннейших тревогах, ибо под конец не доверяла даже бумаге. Она поручала заботам Генриха его бедную сестренку. И тут Генрих наконец зарыдал – он еще не пролил ни одной слезы.

Сквозь слезы он то и дело восклицал:

– Бедная сестренка! Так назвала ее наша мать! – И сердце подсказало ему: «Она должна быть здесь! Мы же одни на свете! Ничего и никого нет у брата и сестры, кроме друг друга! Все остальное – обман души и зрения, все эти женщины, и возвышенные чувства к ним, и страх, как бы ни одной не упустить! А на самом деле я всегда упускаю только одну, и каждый раз – только ее! У нее мне еще никогда не приходилось просить любви или искать понимания. Мы с ней дети одной матери, и нам нечего таить друг от друга. Говорят, у нее мой смех. А сейчас она плачет теми же слезами, но даже эти слезы, которыми она оплакивает нашу мать, не упадут на мои руки. Она далеко, она всегда от меня далеко, и мы не едины в нашей высшей скорби – ее и моей!»

Тут он узнал от гонца, что его сестра Екатерина тоже хотела ехать. Все уже было готово – и лошадь во дворе, и карета за городскими воротами. Однако сестру задержали – не силой, но под всякими ловкими предложениями, пока Ларошфуко наконец не отбыл, да и ему нелегко было вырваться: пришлось действовать очень решительно.

– Значит, ее держат в плену? – спросил брат; глаза у него были уже сухие и гневные, рот горько скривился.

Нет, он ошибается. Ее окружают заботами и вниманием, особенно Марго, его невеста, и даже старуха Екатерина. Свадебное торжество, которого, видимо, ждал с нетерпением двор, так омрачено смертью королевы Наваррской, что нельзя допускать новых прискорбных случайностей. Не хватало еще, чтобы приключилась беда с сестрой, болезненной молодой девушкой, ведь она, может быть, даже унаследовала от матери слабые легкие.

Генрих близко нагнулся к Ларошфуко и, содрогаясь, спросил:

– Значит, дело только в легких?

Последовало долгое молчание. Наконец вместо ответа дворянин пожал плечами.

– Кто подозревает яд? – спросил Генрих. – Только наши друзья?

– Еще больше подозревают другие, ибо они знают, на что люди там способны.

Генрих сказал:

– Я предпочитаю не знать. Иначе мне пришлось бы только ненавидеть и преследовать. А слишком большая ненависть лишает сил.

У него всегда было такое чувство, что жить важнее, чем мстить, и тот, кто действует, смотрит вперед, а не назад, на дорогих покойников. Однако оставались его сыновние обязанности, из-за них он сдерживал себя и, ожидая подкрепления, день за днем сидел в Шонее, хотя и рвался отсюда. Его гугеноты на конях стекались к нему со всех сторон, да и сам он высы-

лал им навстречу проводников, чтобы те показывали дорогу. Ему хотелось явиться в Париж с большими силами, как того требовала Жанна. Он успел передать и ее последние распоряжения своему наместнику в королевстве Беарн. Когда письмо было дописано, Генрих заметил, что не подчеркнул в ее поручениях того, что касалось духовной жизни, а ведь матери она была дороже всего! Сын только подивился, как мог он совершенно забыть о религии, – и сделал необходимую приписку.

Гонец, принесший ему весть о смерти королевы и о крайне подозрительных обстоятельствах, при которых она произошла, потратил четверо суток на путь из Парижа. Генрих же ехал из Шоней в Пуату три недели. Когда он встретил гонца, тот совсем изнемогал. Генрих делал привалы, останавливался для ночевки, принимал пополнения, пил вино и смеялся. Да, смеялся. Истомившиеся гугеноты дивились, въезжая в его лагерь; а он махал руками, приветствуя их, и шутил над их южным наречием. В тот час, когда гонец пустился в путь со своей скорбной вестью, сыну во сне привиделась мать, у нее было новое лицо – лицо вечности, а незадолго до приезда гонца Генрих опять вспомнил это лицо. Но теперь он уже не видел его, и оно больше не являлось ему никогда. Позднее он стал вспоминать Жанну в цветущую пору ее жизни, вспоминал ее ум и волю и как она руководила им в годы его отрочества; но и для этого надо было представлять себе ее образ, ибо образы не умирают.

Moralité

Voyez ce jeune prince déjà aux prises avec les dangers de la vie, qui sont d'être tué ou d'être trahi, mais qui se cachent aussi sous nos désirs et même parmi nos rêves généreux. C'est vrai qu'il traverse toutes ces menaces en s'en jouant, selon le privilège de son âge. Amoureux à tout bout de chemin il ne connaît pas encore que l'amour seul lui fera perdre une liberté qu'en vain la haine lui dispute. Car pour le protéger des complots des hommes et des pièges que lui tendait sa propre nature il y avait alors une personne qui l'aimait jusqu'à en mourir et c'est celle qu'il appelait *la reine ma mère*.

Поучение

Взгляните на сего молодого принца, он уже вступил в единоборство с теми главными опасностями, которые нам посылает жизнь – быть убитым или преданным, – а также с теми, какие таятся в наших желаниях и даже в наших великодушных мечтах. Правда, он проходит шутя меж всеми угрозами, но такова привилегия юности. Влюбляясь на каждом шагу, он еще не ведает, что именно любовь лишит его той свободы, которую тщетно домогалась отнять у него ненависть. Ибо для защиты его от людских злоумышлений и капканов, расставленных его собственной природой, жила на свете одна женщина, и она его столь сильно любила, что от этой любви умерла – та, кого он называл «моя мать, королева».

III. Лувр

Пустые улицы

Сын покойной, ехавший на свою свадьбу, весело поглядывал по сторонам и наслаждался быстрой рысью своего коня. Ветер уже доносил ароматы двора – кушаний, раздушенных людей, женщин, которых не надо просить, – а, наоборот, они нас просят. Генрих решил, что добьется у них успеха, ибо он действовал отважнее других и был уверен, что его душевные и физические качества произведут должное впечатление на прекрасный пол. Марго тоже останется им довольна. Когда он думал о ней, ему приходили в голову самые остроумные шутки. Другим нельзя, конечно, в этом сознаться, но прошлое его невесты, о которой ходила дурная слава, ничуть его не отталкивало, – наоборот, оно сулило ему немало. В таком состоянии духа молодой путешественник находил, что большинство любопытных деревенских девушек вполне заслуживают внимания, частенько слезал ради них с коня и целовал их. И, уже убежав от него, они долго дивились тому, как хорошо умеет целоваться принц-гугенот.

В значительно разросшемся отряде задние ряды всадников говорили другое, чем передние, ибо последние из примкнувших к нему еще кипели гневом на убийство их королевы. Они-то ехали вовсе не на праздник, а на торжество своей мести: каждому придворному были они готовы бросить вызов. Иногда их настроение передавалось и передним рядам, овладевало даже Генрихом и его друзьями. Тогда Морней начинал вещать о чрезвычайных опасностях, ожидающих их при дворе; дю Барта, как обычно, сокрушался о греховности человеческой природы, а Агриппа д'Обинье дивился премудрости Божией, ради нашего же блага посылающей нам врагов. И тогда Генрих возражал ему с перекошенным ртом, и его смятенный взгляд был полон ужаса и гнева:

– Посылать нам старую отравительницу я его не просил! Этого долга за ним не было!

Да, по временам, когда его душа как бы впитывала в себя всю ненависть товарищей, он вдруг спрашивал себя: «Да что я, с ума сошел? Мне жениться на дочери убийцы, когда гроб моей матери, может быть, еще не предан земле? Кто окажется следующей жертвой? А я подгоняю коня и спешу не только отречься от своей чести, но и отдать жизнь? Яд – это, должно быть, ужасно», – думал Генрих и ощущал уже заранее какой-то неведомый холод и оцепенение.

Ужас и ненависть придавали его слуху особую чуткость к голосам в задних рядах, возмущавшимся миролюбием их поездки. Ведь мир все равно нарушен! Нет, надо собрать войско, вернуть адмирала! Пусть Париж, и так уже трепетавший перед ними, теперь увидит в них не только любезных гостей! Поэтому отряд делал частые остановки, чтобы посоветоваться, медлил. Поэтому бесплодно проходили недели. Но когда все, даже Агриппа, начинали колебаться, король Наваррский вдруг отдавал приказ: «На коней! Вперед!» – и, сидя в седле, распевал, как ребенок, который едет через темный лес.

Так достиг он места, откуда уже было поздно возвращаться, ибо здесь его ждали первые придворные из числа тех, кому надлежало торжественно встретить жениха принцессы Валуа; среди них был и его дядя – кардинал де Бурбон. С этой минуты весь отряд непокорных гугенотов оказался как бы пленником кардинала, ехавшего в своем красном плаще рядом с их королем. На другой день, девятого июля, они достигли предместья Сен-Жак; и тут они возликовали. Правда, это была горькая радость: во главе дворян-протестантов, ожидавших своего Генриха, ехал сам несравненный Колиньи, герой их благочестивых войн. После кончины королевы Жанны от сражений за веру только и осталось им что этот старик. Благодаря этим двум людям – Жанне и господину адмиралу – они уже не были преследуемыми еретиками. Они явились сюда как некая сила и сейчас войдут в город! Спутников Генриха охватило бурное вооду-

шевление, они замахали шляпами, на смуглых лицах задрожали бородки, и они единодушно приветствовали своих славных любимцев. Генрих и Колиньи обнялись. Гугеноты кричали: «Да здравствует господин адмирал!» Они бушевали: «Да здравствует наш Генрих!»

Это была сельская латынь, которой здесь никто не понимал.

Однако странным было то, что, несмотря на шумный въезд, улицы продолжали оставаться безлюдными. Генрих раньше, чем его всадники, заметил, что товары в окнах лавок убраны, ставни заперты. В его сердце еще таилась надежда, что у городских ворот его встретят старейшины с обнаженной головой, если не все, то хотя бы несколько; но из ратуши нет никого, да и вообще не видно горожан. Только кошка перебежала улицу под самыми копытами лошадей. Отрядом овладело чувство тревоги, люди притихли.

Улицы были узкие, дома по большей части тесные и убогие, с островерхими крышами, деревянные балки поддерживали камень, нередко встречались наружные лестницы. Деревянные части домов были ярко раскрашены, у каждого дома был свой святой, и, казалось, только он один и смотрел с перекладины ворот вслед гугенотам. Те несколько раз слышали брошенное им вслед: «Разбойники!» – и можно было подумать, что это крикнул святой.

Иные церкви и дворцы были в новом духе и бросались в глаза своей пышностью и красотой, – уже не камни, а дивная поэзия и волшебство, точно перенесенные сюда из иных миров. У некоторых всадников при виде этого словно ширилась грудь от счастья, и в сердце своем они приветствовали языческих богов на крышах и порталах, даже фигуры мучеников на храмах, ибо эти святые имели сходство с нагими гречанками. Однако для большинства суровых борцов за веру смысл увиденного ими оставался закрытым. И было у них только одно желание – опрокинуть идолов, рассеять наваждение. Потому что идолы самонадеянно жаждали затмить самого Господа Бога.

Молодой король Наваррский, ехавший между кардиналом и адмиралом, внимательно разглядывал Париж; это был незнакомый город, никогда еще Генрих его как следует не видел: ребенком его держали как в плену в монастырской школе. А сейчас он слышит враждебные возгласы, он замечает, как люди пытаются выглянуть в глазок в наглухо закрытых ставнях. Все, что ему довелось увидеть во время своей первой поездки через город, были любопытные служанки и уличные девки, да и те прятались в глубокой тени. По две высывались они из закоулков, там блеснут светлые глаза, тут вспыхнут рыжие волосы, смутным пятном выступит из сумрака белая кожа. Казалось, они-то и воплощают в себе тайну этого враждебного города, и Генрих повертывался в седле и тянулся к ним, как и они к нему. Ты, белая и румяная, покажись, покажись, ты, плоть и кровь, горячее, чем языческие богини, твои краски нежны и смелы, такие расцветают только здесь. Всадники нежданно сворачивают за угол, и там стоит одна, вполне осязаемая в солнечном свете, она застигнута врасплох, она хочет бежать, но встретится взглядом с королем разбойников и остается, оцепенев, привстав на цыпочки, словно готовая спорхнуть. Она стройна и гибка, точно поднявшийся из земли стебелек риса, кончики ее длинных-длинных пальцев слегка отогнуты назад, лебединая шея упруга. Кажется, в ее пленительном смятении – и женский испуг, и жажда, чтобы ее сейчас же обняли. Когда Генрих поймал ее взгляд, в нем была веселая насмешка, а когда он наконец был вынужден отвести свой взор, ее глаза уже отдавались, затуманенные и ничего не видящие. Да и он опомнился не сразу. «Она моя! – сказал он себе. – Другие тоже! Париж, ты мой!»

Было ему тогда восемнадцать лет. И лишь в сорок, когда борода его уже седела и он стал мудрым и великим, он завоевал Париж.

Сестра

В эту минуту его двоюродный брат Конде заявил: «Мы прибыли». Стража княжеского дворца уже окружила лошадей и повела их через передний двор. Генрих с кузеном поднялись по широкой лестнице, однако Конде пропустил его вперед, а может быть, сам Генрих обогнал его, взбежав наверх, ибо там ждала его женская фигура. Ты! Только ты – бешено стучало его сердце, он не в силах был слова вымолвить. Они обнялись, он поцеловал сестру в одну и другую щеку, такие же мокрые от слез, как у него. Брат и сестра не говорили о матери. Вновь и вновь узнавая знакомые черты, каждый из них целовал лицо другого – родное с детства и навеки. Они молчали, а на них смотрели вооруженные слуги, стоявшие у каждой двери.

Из одной двери наконец вышла старая принцесса Конде, обняла Генриха и прочла молитву. Потом, заметив, что он запылен и устал, приказала принести вина. Генриху не хотелось задерживаться, он спешил в Лувр, чтобы предстать перед королевой, однако двоюродный брат сказал ему, что ни его дяди, кардинала, ни других придворных, встречавших его в предместье, уже нет. Они простились, и их свита разошлась. Но перед тем они настояли, чтобы сопровождавший Генриха большой отряд гугенотов был распущен. Королю Наваррскому разрешили иметь при себе только пятьдесят вооруженных дворян, а он привел с собой восемьсот. Конде сказал:

– Ведь с ними можно было захватить Париж. От страха жители позапирались в своих домах. Была минута, когда двор перед тобой дрожал. О чем же ты думал?

Генрих возразил:

– Об этом – нет. Но если бы следовало так поступить, мне бы тоже это пришло в голову. А теперь о другом. Я жду не дождусь увидеть королеву Франции.

Его сестричка вполголоса, но решительно попросила его:

– Возьми меня с собой. Я же часть тебя, и нам предназначена одинаковая участь.

– Ну конечно! – воскликнул он. Перед невинной девочкой Екатериной он старался держаться бодро и уверенно. – Значит, и женюсь не я один. Твой брат Генрих раздобудет тебе красивого мужа, сестричка! – Затем обнял ее и убежал.

Королевский замок

А внизу поредевшее войско Генриха, в котором оставалось все же больше сотни всадников, продолжало толпиться во дворе и на улице. Тридцати из них он поручил охранять сестру. С остальными поехал к замку. Вот наконец и мост через реку – «Мост ремесленников», отсюда королевский замок еще кажется новым и роскошным. Однако если пройти улицу под названием Австрия, то он представится довольно жутким сооружением – не то крепость, не то тюрьма, насколько можно судить по первому взгляду, – черные стены, грузные башни, островерхие крыши, широкие и глубокие рвы с вонючей, застоявшейся водой. У тех, кто хочет туда войти, невольно сжимается сердце, и особенно трудно тому, кто только что был в широких полях, под высоким небом. Но Генрих хочет войти, чем бы это ни кончилось: там его ждут приключения. Свободный ум юноши подсказывает ему, что волшебством его не возьмешь. Старая ведьма, которая представлялась ему в детстве такой страшной, все еще сидит, как паук в паутине. Его бедная мать попала в нее. Но уж тем зорче будет остерегаться он.

Кони, гремя копытами, вступают на мост. В памяти Генриха быстро проносится воспоминание о реке, оставшейся позади, – то последняя радостная картина широкого мира, светлые облака плывут в небе, вода поблескивает между челнами с сеном, тяжеловозы тащат по берегу грузы под крик и гогот простого люда, который ни о чем не догадывается. Но здесь убили мою мать – убили! здесь! Им вдруг овладевает ярость. Бурно разрастается, ослепляет. Кто-то трогает его за плечо – один из друзей, и Генрих слышит, как тот говорит: «Они заперли за нами ворота».

Его мысль сразу становится холодной и ясной. Охрана Лувра в самом деле поспешила отрезать Генриха от моста, и его вооруженный отряд не успел проехать. Люди Генриха подняли шум. Он приказал им успокоиться, обрушился на привратников и, конечно, услышал в ответ лишь отговорки – для стольких протестантов-де и места не хватит!

– Так потеснитесь!

– Да вы не беспокойтесь, господин король Наваррский, в Лувре хватит места для всех гугенотов, которые войдут в него. Чем больше, тем лучше! – Тут лучники и аркебузиры решительно встали по краям моста и крепко сжали в руках оружие.

Генрих оглядел своих немногочисленных спутников, затем во главе отряда проехал еще ровно двадцать футов, как он прикинул на глаз, потом копыта снова застучали по доскам – это был подъемный мост. А вот и двери – двери Лувра, темные и массивные, меж двух древних башен. И наконец, свод – настолько низкий, что всадникам пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Одной рукой они взяли за уздечку, другая невольно легла на рукоятку пистолета. И еще двадцать футов отсчитал Генрих, весь охваченный тревожным ожиданием. Так он вошел во двор.

Во дворе была теснота, но, невзирая на множество людей, все выглядело вполне мирно. Здесь были только мужчины – всех сословий, вооруженные и безоружные, предававшиеся самым разнообразным занятиям: придворные спорили или играли в кости, горожане входили и выходили из дверей присутствий, помещавшихся в нижнем этаже самого старого здания. Прервав свою работу в жарких кухнях, повара и слуги выбегали подышать холодноватым воздухом: на этом дворе людей прохватывала дрожь даже в июле. Посередине еще виднелся фундамент разрушенной башни: это была самая толстая башня замка, с древних времен громоздилась она здесь, бросая тень на весь двор. Лишь король Франциск, двоюродный дед Генриха, снес ее. И все-таки свету было в этом дворе не больше, чем на дне колодца. Он так и назывался: Луврский колодец.

Приезжие затерялись в пестрой толпе. Генрих и его спутники не увидели здесь ни одного знакомого лица. Но когда они попытались пробраться со своими лошадьми через толпу назад, королевская стража остановила их.

– Назад, господа! Да, да, без возражений! Вернитесь! Назад, через мост, конюшни снаружи, никаких исключений, особенно для гасконцев, у которых даже слуг нет.

Вот как их встретили! Генрих не открыл, кто он, запретил говорить и остальным и в ответ только начал потешаться над молодым офицером, начальником охраны. Это продолжалось до тех пор, пока тот не схватился за шпагу; тогда долговязый дю Барта обезоружил его и крикнул, пожалуй, слишком громко:

– Это же король Наваррский!

Вокруг них уже толпился народ; послышался шум и спор, лейтенанта с трудом оттащили от его противника, так как он не желал отпустить гугенота: «Он такой же король Наваррский, как я король Польский». Наконец кто-то растолкал толпу глазееющих слуг, и Генрих увидел, что это его собственный слуга д'Арманьяк, которого здесь уже знали. Д'Арманьяку удалось убедить их, что это правда, впрочем – лишь пустив в ход все свое красноречие. Заверения простых людей успокоили и господ, и все отступили на почтительное расстояние от будущего зятя французского короля. Д'Арманьяк держался рядом со своим господином, а по другую сторону шел молодой офицер, опасавшийся еще каких-либо недоразумений. Когда они очутились у подножия лестницы, офицер сказал, стараясь оправдать свое усердие:

– Еще и месяца нет, как тут вот лежал мой начальник с перерезанным горлом. А мой предшественник, некий господин де Линьероль, упал с лестницы и убится насмерть; как это случилось – никто не знает.

Стремясь загладить свою вину, он выдал тайну, прошептав:

– А прямо над лестницей-то и живет королева, мадам Екатерина. – Испугавшись этих слов, он вдруг умолк и не сделал дальше ни шагу.

Д'Арманьяк проводил Генриха в его комнату. Этот дворянин, исполняющий должность слуги, опередил своего господина и уже успел все приготовить – даже лохань, до половины налитую водой и столь огромную, что, не будучи великаном, король вполне мог сидеть в ней. А какие одежды тут были разложены – молодой сельский государь никогда таких не носил! Сплошь белый шелк, затканый блистающими узорами, самый красивый свадебный наряд в мире. Генрих догадался, что за его изготовлением наблюдали глаза матери, и его собственные сейчас же наполнились слезами.

Королева Жанна не приготовила ему траурной одежды, – значит, она не ожидала смерти и была сражена внезапно. Нет, это была не болезнь, а яд. Генриху казалось, что теперь он уверился окончательно, и в ту минуту он был даже этому рад. Сейчас он предстанет перед убийцей его матери.

Злая фея

Генрих приказал доложить о себе старой королеве, и, когда он был готов, за ним явились два дворянина. Долго шли они втроем по дворцовым комнатам, не обменявшись ни словом, и он понял, что молчат они из осторожности. В другое время он забросал бы их вопросами, но сейчас был одержим одной-единственной мыслью – он думал только о ненависти. Но вот провожатые распахнули двери в приемную королевы, почтительно склонились и оставили его одного. У двери, в которую вошел Генрих, словно застыли два коренастых швейцарца, а двое, охранявшие вход во внутренние покои, скрестили перед ним алебарды. Все четверо казались изваяниями из камня, их светлые глаза были устремлены прямо перед собой. Они не видели чужеземца и не поняли бы его, даже если бы он громко воскликнул: «Мою мать отравили!»

Так как Генриху пришлось ждать, то ему взбрело на ум спрятаться за оконным занавесом. Когда войдет отравительница, пусть не знает, что он тут, а он подглядит, какое у нее будет выражение лица. Но в окно светило полуденное солнце, а позади тщательно ухоженного сада он увидел светлые воды реки и все то, с чем он, подъезжая к воротам замка, уже распростился, – ничего не ведающий шумный люд, шаткие высокие возы с сеном, скрипучие лодки и повозки. Бросился ему в глаза и длинный озаренный солнцем дворцовый фасад, который был виден весь из этой угловой комнаты: фасад был великолепен, прямо какое-то чудо. Казалось, здание перенесено сюда по волшебству из сказочных миров мечты. В почтенном городе Париже местами вас встречали такие неожиданности, которые никак не вязались с его обитателями. Этот фасад был выше французского двора: он как бы поднимал его из Луврского колодца, где останки дряхлой башни догнивали на могиле столетий. Словом, это была блистательная, обращенная в будущее сторона очень мрачных, древних времен. Увидев дворцовый фасад, Генрих Наваррский понял, что хотя владелица замка и отравительница, но что она вместе с тем и фея. Правда, нужно всегда остерегаться ловушек лукавого, а такой ловушкой может оказаться даже прекрасный фасад. «Обман чувств, наваждение!» – подумал молодой протестант – или же это подумала покойница, воспользовавшись живым мозгом своего сына? Королева Жанна не раз бывала в этой комнате. Здесь она добивалась прав для своей веры и своего сына, здесь боролась и изнемогала, и, может быть, здесь ей был предложен стакан воды, куда старая колдунья чего-то подсыпала.

Генрих круто обернулся. Он не слышал даже шороха, однако Екатерина Медичи уже успела, переваливаясь, дойти до середины комнаты. Он узнал только ее силуэт, так как был ослеплен светом, она же отыскивала взглядом молодого человека и рассматривала его. А где ее руки – она спрятала их в складках платья? Королева была в черном, она заговорила своим тусклым голосом. «Вот она – жива!» – с горечью подумал сын покойной. Охваченный ненавистью, он слушал, как Екатерина заверяла его, что глубоко скорбит о своей дорогой подружке Жанне и так рада, что он наконец здесь, у нее. Этому он охотно верил, но решил про себя, что еще заставит старуху пожалеть об этом. Тем временем его глаза привыкли к сумеркам, царившим в комнате. Да, Екатерина прятала руки! А еще приплела десницу господню! Сын покойной Жанны прикусил язык, иначе он не сдержался бы и потребовал: «А ну-ка, покажите ваши руки, мадам!» Впрочем, она и показала их. Вытащив из складок юбки мясистые ладони с жирными отростками вместо пальцев, на которые ему так хотелось взглянуть, и, усевшись, положила их на стол.

В гневе Генрих сделал к ней шаг, другой. Эти шаги были слишком торопливы и необузданны. Ведь перед старой королевой стоял широкий массивный стол, а за ее спиной – четыре здоровенных швейцарца с длинными пиками. Она могла не тревожиться и говорить благодушным тоном.

– Как мне жаль вас, молодой человек! Всего восемнадцать лет, не правда ли, и уже круглый сирота. Но я буду вам второй матерью, буду направлять каждый ваш шаг, ведь шаги молодежи часто бывают слишком торопливы. И я знаю, молодой человек, что вы поблагодарите меня за это, у вас натура живая и искренняя. Мы оба заслужили того, чтобы понимать друг друга.

Его охватил ужас. Казалось, на столе стоит незримый стакан с ядом и жирные отростки старухи уже подкрадываются к нему, а ее устами говорит бездна. Это колдовские чары, их нужно разрушить! Вероятно, какие-то заклинания и магические знаки заставили бы это свинцовое лицо с отвисшими щеками лопнуть и растаять в воздухе! Однако не о таких фокусах думал Генрих в этот решающий миг; ему открылось нечто иное: он вдруг почувствовал в глубине души, что убийца его матери достойна сожаления, как та башня в Луврском колодце – остаток погребенных столетий. И все-таки башню скоро снесут окончательно. Может быть, Екатерина сама сделает это. Ей или ее поколению ведь уже пришлось возвести прекрасный, озаренный полуденным солнцем фасад дворца. Сама же она еще сидит здесь как воплощение черного и неразумного прошлого. Плохое, когда оно уже одряхлело, вызывает смех, даже если продолжает убивать. И, несмотря на его запоздалые злодеяния, оно порождает в нас жалость своей слабостью, своей ветхостью.

Поэтому юноша воскликнул звонко и уверенно:

– Поистине вы правы, мадам! Я когда-нибудь, бесспорно, скажу вам спасибо! Да будут мои поступки так же непосредственны, как и ваши! Я постараюсь понравиться столь великой королеве.

Преувеличенной иронии подобного обещания она, конечно, не могла не заметить, но он и не скрывал ее. Черные, без блеска глаза Екатерины, вдруг ставшие колючими, действительно впились в его лицо, в котором не отражалось решительно ничего, кроме юношеской отваги. Под ее пытливым взглядом Генрих продолжал:

– От вас, мадам, я надеюсь услышать о кончине моей бедной матери – королевы больше, чем мне могут сообщить другие. Она имела счастье быть с вами близкой, и во всех своих письмах моя бедная мать всегда отзывалась о вас с высокой похвалой.

– Я думаю! – заметила Екатерина. Она вспомнила последнее письмо, в котором Жанна д'Альбре льстилась надеждой отнять у нее власть и которое Екатерина собственноручно вскрыла и снова запечатала. Об этом письме вспомнил и Генрих.

А старуха стала еще проще и сказала прямо-таки дружелюбно:

– Дитя мое, мы не случайно здесь одни. Вы поступили хорошо и правильно, что прежде всего явились ко мне, иначе я сама пригласила бы вас, чтобы дать некоторые разъяснения по поводу смерти вашей матери, моей дорогой подруги. Тот, кто не знает, как было дело, может в самых естественных событиях усмотреть тайну, и это вызовет в нем озлобление.

«Ловко разыграно!» – подумал он и ответил:

– Вы совершенно правы, мадам, я сам в этом убедился. Никто из тех, кто видел мою мать – королеву незадолго до ее смерти, не поверил бы, что ее жизнь уже под угрозой.

– А вы, дитя мое? – напрямик спросила Екатерина, и притом с такой материнской заботливостью, как будто она самая честная старуха на свете.

Вот он, этот миг! Ведь именно ради этих слов Генрих явился сюда. И сейчас он должен крикнуть: убийца! Так представлял он себе расплату с мадам Екатериной до того, как этот миг настал. Однако юноша медлил. Его жгучая ненависть натолкнулась на неожиданное препятствие.

– Я жду ваших разъяснений, – изумленно услышал он собственный ответ.

Двое в черном

Она кивнула с довольным видом. Затем слегка повела плечом, подавая знак двум швейцарцам, охранявшим вход во внутренние покои. Солдаты опустили пики, распахнули обе половинки двери. Тотчас вошли двое одетых во все черное мужчин – высокий и поменьше. Они были с непокрытой головой, без оружия, но на их лицах лежала печать какого-то скорбного достоинства. Они склонились, как и полагалось, сначала перед королевой Франции, затем перед королем Наваррским, потом замерли, ожидая знака, приказа королевы, и как только она милостиво опустила руку, заговорили, обращаясь к Генриху:

– Я Кайар, бывший лейб-медик ее величества королевы Наваррской. – Эти слова произнес долговязый и, видимо, сам глубоко проникся их торжественностью.

– Меня зовут Дене, я хирург. – Это был совсем другой тип, он с удовольствием обошелся бы без казенной скорбности.

– По приказу ее величества, я, Кайар, член факультета, четвертого июня, во вторник, был вызван в дом принца Конде и нашел королеву в постели, у нее был приступ лихорадки.

«Стакнулись, – подумал Генрих, – и теперь будут без конца разводить канитель». Он сел.

– А какое лечение вы применили? – спросил он вторично мужчину в черном. – Клистир?

– Это не мое дело, – ответил хирург. – Этим вот он занимается. – и толкнул локтем своего коллегу.

Врач побелел от гнева, однако продолжал с полным самообладанием:

– Я, Кайар, член факультета, незамедлительно произвел обследование и установил, что правое легкое у королевы весьма сильно поражено. Заметил я также необычное затвердение и предположил наличие опухоли, которая могла прорваться и вызвать смерть. Согласно этому я и записал в своей книге: ее величество королева Наваррская проживет не более четырех – шести дней. Это было четвертого, во вторник. А в воскресенье, девятого, наступила смерть. – И он протянул Генриху упомянутую книгу с записями.

Генрих бросил беглый взгляд на каракули врача. Второй одетый в черное мужчина соорудил такую рожу, которая ясно говорила, что заявления первого никакого значения придавать не следует, разве что комическое, и, видимо решив, что пора высказаться, начал очень просто:

– Я всего лишь хирург Дене и совсем не знаменит; ваше величество, вероятно, никогда не слышали даже моего имени. Но вы, бесспорно, знаете прославленного господина Кайара, красу факультета. Его вскормила наука, а я всего лишь скромный ремесленник и работаю пилотом. Он предрекает людям точный час их смерти, вопрошая, если нужно, даже звезды. Я же вскрываю тела людей после их смерти и притом все-таки кое-что нахожу, чего отрицать нельзя, ибо мои находки можно увидеть и ощупать. Но потом оказывается, что все это уже заранее было записано в сивиллиной книге великого Кайара, почему я остаюсь его ничтожным помощником. – И он отвесил врачу низкий поклон.

А тот принял похвалу, как нечто вполне заслуженное.

– Так вот, – продолжал Кайар, – когда королева скончалась, я, следуя ее воле, выраженной еще при жизни, поручил здесь присутствующему хирургу Дене произвести вскрытие ее тела.

Сын покойной вскочил.

– И вы это сделали? И вы осмелились?

Кайар продолжал хранить вид скорбный и достойный.

– Не только тело ее величества приказал я, по ее велению, вскрыть, но и голову. Ибо королева страдала от мучительной щекотки в голове и опасалась передать какую-то неведомую

болезнь своим детям. Она настаивала, хоть я и напоминал ей о том, что ничто не передается по наследству без воли господней.

– Докажи! – воскликнул Генрих и топнул ногой. – Иначе я ни одному слову твоему не поверю!

Тут врач и в самом деле извлек какой-то свиток, протянул его Генриху, и юноша прочел имя своей матери, написанное ею самой, это было несомненно. А сверху, другим почерком, были записаны ее распоряжения, о которых рассказал врач.

– И что же вы нашли? Скорей, я хочу знать!

Теперь заговорил хирург:

– В теле оказалось все так, как и предвидел господин Кайар, уплотнение пораженного легкого и опухоль, которая, лопнув, явилась причиной смерти. А в голове – вот что.

Точно фокусник, чуть улыбающийся удавшемуся фокусу, он указал на стол, где лежал большой, весь исчерченный лист бумаги. Еще за мгновение перед тем стол был пуст. Генрих склонился над листом и вздрогнул: на бумаге выступали контуры черепа – это был череп его матери. А хирург продолжал:

– Когда я распилил голову королевы...

– В моем присутствии, – торопливо вставил врач.

– Иначе череп и не удалось бы вскрыть. Итак, когда я вскрыл его, я обнаружил под черепной коробкой какие-то пузыри, наполненные водяной жидкостью, которая, вероятно, еще при жизни королевы разлилась по мозговой оболочке.

– Отсюда и необъяснимая щекотка, – заметил врач. Хирург толкнул его в бок и пропищал:

– Он вот объяснил! А я бы не смог. Только рисунок сделан мной. Видите, где я держу палец?

Но долговязый, хранивший торжественный вид, попросту отбросил палец своего подчиненного; тот прямо посинел от злости.

Пока врач подробно и с непоколебимой убежденностью объяснял значение линий и точек, Генрих хотя и слушал его, однако в то же время продолжал наблюдать за мадам Екатериной. И она сначала склонилась над чертежом, внимательно разглядывая его, хотя, наверное, видела не в первый раз. Но чем яснее становилась болезнь ее милой подруги, тем больше откидывалась назад мадам Екатерина, пока снова не приняла прежнее положение в своем кресле с прямой спинкой.

– Это такой редкий случай, – заметил врач, – и настолько подозрительного свойства, что мой учитель и предшественник наверняка бы предположил здесь колдовство, я же верю только в природу и в волю Божию.

Мадам Екатерина одобрительно кивнула и поглядела на сына своей подруги, – да, перед ним лицо доброй, простодушной женщины, быть может, искушенной и многоопытной, но в этой смерти она тоже ничего не понимает, она искренне встревожена загадочной немилостью судьбы. «Если б только я мог проникнуть в бездну ее взгляда!.. – думает сын отравленной Жанны. – Хотя почему она непременно должна быть отравлена? Все могло произойти вполне естественным путем. В искренности врача сомневаться не приходится, как, впрочем, и в ограниченности его познаний. А пузыри под черепом моей матери? Чем они вызваны? Ядом? Ах, если бы я мог проникнуть в бездну этого черного взгляда и нащупать руками, что там прячется! Я хочу знать наверняка!»

Почти победительница

Его душевная борьба едва ли могла ускользнуть от умной старухи, однако Екатерина сделала вид, будто ничего не замечает. Она держалась так, словно ее единственная цель – смягчить горе скорбящего сына. Прежде всего она подала знак обоим лекарям, и они, поклонившись, удалились с тем же достоинством и скорбным выражением, с каким вошли. Затем Медичи, видимо, решила дать ему опомниться, но воцарившееся молчание продолжалось, может быть, слишком долго: ненависть Генриха, на время утратившая свою напряженность, проснулась с новой силой. Он вспомнил о вскрытых письмах: именно после того, как они были отправлены, умерла его мать! Сам того не замечая, он большими шагами забегал по комнате. Мадам Екатерина спокойно следила за ним, и он, заметив это, снова почувствовал в душе смятение. Юноша внезапно остановился перед ней, скрестив руки, в недопустимо вызывающей позе. Слово «убийца» уже грозило сорваться с его губ. Никогда еще он не был так близок к этому. Однако она предупредила взрыв и начала мирно и неторопливо:

– Милый мальчик, я рада, что вы теперь знаете столько же, сколько я. Мне было приятно видеть, как вы тоже постепенно убеждались в истине. Теперь мы можем похоронить печаль в глубине наших сердец и обратиться к радостному будущему.

– А череп? – угрожающе бросил Генрих в лицо королевы, тяжелое и серое, как свинец. Затем поискал глазами на столе – листок с рисунком исчез: от изумления у него прямо руки опустились. Впервые мадам Екатерина не сдержала насмешливой улыбки, отнюдь для него не лестной. «Вы даже этого не заметили, милый мальчик», – точно говорила эта улыбка.

Как ни странно, неудача успокоила Генриха и настроила его самым деловым образом. Ничего не поделаешь. Екатерина взяла верх. Договориться с ней нужно. И он тут же забыл о ненависти и недоверии, точно их и не было. При его характере это было нетрудно. С чувством облегчения уселся Генрих против старухи, а она одобрительно кивнула.

– Нас с вами ожидает немало хорошего, – сказала Екатерина.

Генрих не ответил, и она продолжала:

– Теперь мы друзья, и я могу сказать откровенно, почему я отдаю вам свою дочь: из-за герцога Гиза, который мог бы стать опасен моему дому. Он ведь был вашим школьным товарищем; и вам, вероятно, известно, что Генрих Гиз упорно домогается любви парижан... Он старается выказать себя более усердным христианином, чем я, а я, как известно, изо всех сил защищаю святую Церковь!

При этих словах какая-то искорка сверкнула в ее непроницаемом взоре; а Генрих тут же забыл, что ему хотелось заглянуть в глубину ее души, и беззвучно рассмеялся вместе с ней: хоть в неверии своем созналась, и то хорошо. Презрение к ханжескому фанатизму сближало их. Впрочем, лицо ее тотчас опять стало серьезным.

– Но он добился того, что папа и Испания поддерживают его. На их деньги этот ничтожный лотарингец мог бы выставить против меня большое войско. Если так будет продолжаться, то Гиз, пожалуй, весь Париж поднимет. Больше того: он может нанять убийц. А чего он в конце концов добьется? Франция станет испанской провинцией.

Мадам Екатерине было все равно, что ее случайный собеседник – незначительный молодой человек. Она предавалась со страстью своему излюбленному занятию – заглядыванию в бездну.

– Ведь и я, – продолжала она вполголоса, – могла бы сделать приятное испанскому королю. Он злится на меня за то, что я щажу моих протестантов... – Екатерина смолкает, она долго что-то обдумывает. Ее сжатые губы шевелятся, и это заставляет Генриха насторожиться больше, чем ее слова. – Нанимать убийц? – бормочет Медичи. И она могла бы это сделать! Но

только ей это ни к чему, ее собственная жирная ручка отлично умеет приготовить ядовитое питье! Он пристально наблюдал за ней, и она вскоре заметила его настороженный взгляд. – Мои протестанты мне так же дороги, как и все остальные французы, – заявила она по-прежнему невозмутимо. И закончила, слегка подчеркивая свои слова: – Я ведь королева Франции.

– Это ваш сын – король, – необдуманно поправил он ее, вспомнив рассказ своей матери Жанны о том, что король страдает каким-то ужасным недугом и что оба брата Карла, ныне здравствующие, обречены на ту же болезнь, – старшим она уже овладела. «Кто эта одинокая старуха, – спрашивает себя Генрих, – которая, видимо, надеется пережить всех своих сыновей? До остальных французов ей, в сущности, так же мало дела, как и до нас, протестантов». Вслух он сказал:

– Как прекрасен ваш замок Лувр, мадам! Но все, что придает ему блеск, идет с вашей родины. Архитектура ведь итальянская, – «так же как и искусство изготовлять яды», – хотелось ему добавить. Она пожала плечами, ибо из этих двух искусств первое было ей совершенно чуждо. Да и свою Флоренцию она ничуть не любила: в молодости она была там несчастна и подверглась изгнанию.

Однако мадам Екатерина умела быть только собой и ничем иным: этим она и была сильна, пока жизнь ее не сломила.

Сейчас она подозрительно уставилась на юношу:

– Вы говорите о короле? Разве вы виделись с ним раньше, чем со мной?

Он с живостью отрицал. Екатерина заговорила еще тише: ее слов не должны были слышать даже швейцарцы у дверей, хотя они все равно ничего бы не поняли.

– Король бывает иногда не в себе, – зашептала старая дьяволица. – Я никому не говорю об этом, но на него иногда накатывает ярость, и он тогда бредит убийством, бойней. Это у него от болезни, – настойчиво бормотала она.

А Генрих подумал: нечего сказать, в хорошую он входит семейку; впрочем, ничего здесь нового нет. Но мать кровоточивых сыновей уже снова успокоилась.

– Остальные два у меня удачные, особенно д'Анжу. Подружитесь с ним, мой мальчик. А главное – держите всегда нашу сторону против лотарингцев! Вы будете так же командовать нашим войском, как ваш отец, – вы можете, – и пригодитесь нам не меньше, чем он. Зато вы получите мою дочь. Но и тут, смотрите, остерегайтесь герцога Гиза. Женщины считают его красавцем.

А Генрих думает про себя: «И спят с ним. Нечего морочить мне голову, мадам! Мы друг друга знаем, и мне известно, какова та девушка, на которой я женюсь. Только моя дорогая мать не догадывалась...» – шептало его любящее сердце.

И он сказал с вызовом:

– Потому-то вы, мадам, и отослали Гиза до моего приезда.

А старуха отвечала еще спокойнее:

– К вашей свадьбе он вернется. Иногда бывает лучше, чтобы на глазах у молодой девушки не торчал мужчина, который пользуется слишком большим успехом. А мне, старухе, следует постоянно надзирать за ним. Я хочу, чтобы все мои враги были собраны тут, у меня, в Лувре. – К ним принадлежит и он, в этом не может быть сомнения.

Столь бесцеремонная откровенность могла бы оскорбить Генриха, хотя он уже с юных лет не верил в доброкачественность человеческой природы. Но Екатерина слишком уж обнажала жизнь. С другой стороны, в нем брало перевес какое-то доверие, мало-помалу возникавшее в его душе во время их беседы. Когда восемнадцатилетний юноша слышит столь лестное мнение о себе, он в конце концов попадает на удочку. «Мне лично этой знаменитой ведьмы бояться нечего, да и матери моей ничего она в питье не подмешивала». И если бы сейчас перед ним стоял на столе стакан, он был бы готов залпом выпить его.

Вместо этого мадам Екатерина подала знак, стража тут же распахнула наружные двери, и на пороге появились те двое дворян, которые проводили Генриха сюда. Слегка удивленный, Генрих простился и последовал за ними.

Нечистая совесть

Он заговорил со своими провожатыми, один из них был первым дворянином короля, его звали де Миоссен; это был человек крайне осторожный и тщательно скрывавший, что он протестант. Генрих сказал ему это прямо в лицо, по некоторым безошибочным приметам он умел распознавать ревнителей истинной веры. Принц спросил, смеясь:

- Вы что, боитесь парижан? Народ нас, верно, недолюбливает?
- Если бы вопрос шел только о народе, – загадочно ответил Миоссен.
- Стыдитесь! У первого дворянина короля должно быть больше гордости!

Затем Генрих покинул обоих придворных и ускорил шаг, ибо в глубине парка, содержащегося в образцовом порядке, заметил самого Карла Девятого, тот был один и возился со своей собакой, которые оглушительно лаяли. Генрих окликнул его. Но король не слышал, а в это время внимание Генриха привлекло нечто другое: он стоял под окном той комнаты, из которой только что вышел. И вот перед ним озаренный солнцем фасад во всей своей неправдоподобной прелести, быть может, искушение лукавого, но, во всяком случае, если даже наваждение, то чарующее наши чувства. И тут же он понял, что мадам Екатерина отпустила его в слишком уж выгодную для нее минуту, когда он наконец решил, что его мать все-таки не была отравлена. Именно в тот миг, когда он этому поверил, Екатерина отпустила его. Она видела его насквозь с грубой прозорливостью, он же тщетно старался проникнуть в глубины ее непроницаемого взгляда. И тогда юношу охватил страх; в нем опять ожило то первоначальное ощущение, с которым он вошел в комнату наверху, – вошел как судья и мститель. «Убийца!» Дважды удержался он и не произнес этого слова, не только из осторожности, как опытный царедворец, но и потому, что старуха действительно внушала ему какое-то дурацкое, слепое доверие. В таких случаях молодость – плохой советчик, по крайней мере меня она обрекла на полное бессилие!

Он быстро отыскал знакомое окно. Нет, он все-таки не ошибся! Лицо тут же снова исчезло, Генрих не успел его рассмотреть; за ним следили, он чувствовал это. Проверяли, осталось ли что-нибудь от его ребячьей доверчивости? «Самая малость, мадам Екатерина! Я знаю далеко не все, и даже, отчего умерла моя мать – королева, не знаю наверное! Но я не забуду никогда, что из двух искусств ваших соплеменников – составления ядов и благородного зодчества – вам доступно только первое. Вы злая фея, если только вы фея. Мне предстоит здесь изведать, что такое ужас, но при этом я должен смеяться. А про своего толстого сына сказала, будто он бешеный».

Генрих снова направился к Карлу Девятому, но уже гораздо медленнее. Тот все еще не замечал его. Вернее, он отвел свой косящий взгляд и сделал вид, будто занят только собаками. Две собаки подрались. Король начал науськивать их друг на друга, и они сцепились еще яростнее. Тогда он крикнул, перекрывая лай и рычание:

- Обе надоели! Пусть загрызут друг друга!

После такого приема, еще более глупого, чем неучтивого, Генрих повернулся, чтобы уйти. Тогда Карл бросил свое занятие и пошел за ним. «Наварра! Что вам сказала моя мать – королева?» И скосил глаза. А Генрих решил: «Он, видно, ждал меня здесь внизу с большим нетерпением».

– Мы говорили все больше о черепах да об убийствах. Было очень весело, мадам Екатерина мне нравится – впрочем, я ей тоже.

Карл вздрогнул, задрожал и пошатнулся.

– Ради Господа, Наварра, я знать ничего не хочу об убийствах! Совсем недавно два человека из моей личной охраны прикончили здесь друг друга, как вот эти злые собаки. У моей матери – королевы голова всегда набита всякими ужасами.

– А она то же самое говорит про вас, – вставил Генрих.

У короля Франции словно язык прилип к гортани, он даже весь как-то съежился. Хотя на него, по выражению его матери, иногда нападало бешенство, страх все же пересиливал ярость. Так случилось и тут. Карл был в белом шелку, и поэтому казалось, что он даже не побледнел, а пожелтел. А у сына умершей Жанны вспыхнуло новое подозрение: совесть Карла явно была нечиста. Этот сын и эта мать, объявлявшие друг друга сумасшедшими, – раскрытия каких тайн они опасались? Юноше невольно пришли на память слова друзей: «Вы будете второй жертвой. Соберите ревнителей истинной веры! Конечно, было бы благоразумнее покинуть, пока не поздно, этот разбойничий вертеп. Взять сестру и – прочь отсюда вместе с моими всадниками! Однако я не сделаю этого, ведь я для того и приехал ко двору, чтобы познать, что такое страх; и потом, сюда идут две девушки, впереди них, словно на поводу, выступают павлины с искрящимся оперением. Одна из них – Марго, родная дочь отравительницы» – это первая мысль, которая проносится в голове Генриха. Но ее сейчас же нагоняет вторая: «Марго стала красавицей!»

Лабиринт

Он радостно сделал к ней несколько шагов:

– А, милая Марго! – громко воскликнул он.

Карл Девятый удивленно обернулся; потом опять занялся своими собаками. Принцесса Валуа произнесла первые слова, только когда Генрих уже стоял перед нею; она сказала:

– Надеюсь, ваше путешествие было благополучным?

– Ваш образ неизменно стоял передо мной, – поспешил он заверить ее. – Но в действительности вы несравненно лучше, чем на портрете. А кто ваша хорошенькая подружка?

– Мадам де Сов, – вместо ответа властно обратилась к ней Марго. – Отведите же птиц обратно!

Тогда фрейлина хлопнула в ладоши, и павлины в самом деле пошли перед нею. Она все же успела произвести оценку этого юного провинциала – достаточно ей было бросить на него насмешливый взгляд из-под высоких бровей. Этот будет для женщин легкой и безобидной добычей! «Как в руках принцессы, так и в моих», – мысленно добавила она и удалилась, очень стройная и изящная.

– У нее нос слишком длинный, – заметил Генрих, когда фрейлина скрылась.

– А у меня? – капризно спросила Марго, ибо нос у той был ничуть не длиннее, чем у принцессы, только более прямой.

– Одно несомненно, – сказал он, – у Матильды тонкие губы.

– У Шарлотты?

– Видите, вот вы и выдали ее имя. – Он был весьма доволен тем, что перехитрил Марго, так как ясно чувствовал ее сопротивление.

– Мне больше нравится, когда губы полнее и мягче, и зубы должны быть не такие мелкие и ярче блестеть... – При этом он посмотрел на ее рот, потом взглянул ей прямо в глаза, – но отнюдь не дерзко, – решила она про себя: недостаточно дерзко. Его взгляд был нежен и полон желанья, Генрих попытался обнять ее этим взглядом, но очень учтиво и почтительно, не как ту соблазнительную девку, на углу улицы. Из Марго с ее полными ногами вышла довольно-таки властная дама! Поэтому-то он и не брал ее приступом, да и глаза у нее отнюдь не стали покорными, незрячими и затуманенными. «Дочь убийцы! – вспомнил он и испугался. – Стала красавицей, пока мать творила черные дела!»

А Марго думала: «На мои ноги он все-таки поглядывает!» Ибо отлично помнила, что еще в детстве обещала ему, на качелях, и он тогда уже хотел это получить. А теперь что стоит между ними? Почему он оробел? Однако ее белое как снег лицо хранило глубокую безмятежность. Генрих не умел различать, как его дорогая матушка, что у Марго от жеманства, что от белил. Впрочем, Жанна считала фигуру девушки безупречной; это мнение разделял и ее сын, и его даже не отталкивало то обстоятельство, что Маргарита чересчур уж затянута. Не мог также предвидеть сын Жанны, что ее щеки когда-нибудь отвиснут. Хотя она уже не так обильно украшала себя с головы до ног сверкающими жемчугами и драгоценными камнями, как во время некоей процессии, Генриху она показалась великолепной и сулила всем его чувствам небывалые радости.

Он думал: «Строй из себя принцессу сколько хочешь, скоро мы все равно будем лежать вместе в кровати».

А в ее надменно откинутой голове пронеслись мысли: «Буду я когда-нибудь снова спать с Гизом? Едва ли, потому что этот мне нравится. Деревенский юноша и все же королевский сын», – как выразилась его мать.

А он думал: «Марго, Марго, с Гизом ты больше спать не будешь: тебе и меня хватит с избытком».

Тем временем она уже давно начала по-латыни какой-то холодный комплимент его походам и воинской славе. А он заверил ее на том же языке, что восхищен ее ученостью и образованностью, а также величием ее осанки. Каждый из всех сил старался щегольнуть самыми изысканно построенными фразами, но думали оба о другом.

Вдруг Марго переменяла тему беседы.

– Вы уже говорили с моей матерью.

Генрих вздрогнул, точно его поймали на месте преступления: ведь, что бы он ни говорил, о чем бы ни думал, в душе его неизменно жило одно: «Марго – дочь убийцы!»

– И с глазу на глаз, – добавила принцесса. – Относительно прискорбного события, как я полагаю? Примите мое искреннее соболезнование. – Ее подведенные синим веки заморгали, наконец блеснула слезинка. Он тут же схватил ее за руку и прошептал: «Пойдемте отсюда!» – ибо чувствовал за спиной косящий взгляд Карла. Учтиво провел ее Генрих по открытой садовой аллее, но едва они очутились за какой-то изгородью, юноша взволнованно спросил:

– Вы видели мою мать перед кончиной? Отчего она умерла? О, отвечайте! – Но принцесса, конечно, молчала. – Вы ведь знаете, какие ходят слухи? – настойчиво продолжал он. – Скажите мне, что вы на этот счет думаете! Не хотите? Ах, Марго! Это дурно с вашей стороны!

Не отвечая, она пошла вперед по дорожке, извиающейся между двумя высокими изгородями, и они очутились в лабиринте, где было сумеречно, даже когда светило солнце. Но чутье подсказывало ей, что лучше, если Генрих не будет сейчас слишком отчетливо видеть ее и она его. Он шел, прижавшись к плечу девушки, при каждом шаге касался ее, и она ощущала на своей шее его дыхание.

– Мне ужасно тяжело. Я словно брожу ощупью и никак не могу найти выход. – Так же блуждали они теперь по узким извилинам лабиринта. – Я всегда, всегда помнил о тебе! – проговорил он вдруг так горячо и трепетно, что Марго приостановилась и посмотрела на него: в глазах у юноши стояли слезы. Это были, без сомнения, искренние слезы, и вместе с тем он был уверен, что она наконец будет тронута и выложит всю правду.

– Я ведь сама наверняка ничего не знаю, – взволнованно начала она и вдруг смолкла на полуслове.

– Но у вас есть основания что-либо предполагать? Какой-нибудь повод?

– Нет! Нет! – Она словно заклинала его молчать. Тщетно!

– Мы ведь должны пожениться. Но вы понимаете, почему я сейчас не целую ваше прекрасное лицо и не поднимаю вам юбки? У вас есть тайна от меня, и это сильнее всего остального.

Девушка только застонала. Однако он не давал ей пощады.

– Никогда еще моя страсть к вам не была так глубока, как теперь. Я смогу любить отныне только одну-единственную! – воскликнул Генрих и сам поверил своим словам. – Ах, Марго, Марго! Ведь вы дочь женщины, которая, может быть, убила мою мать!

Внезапно наступившее молчание и ужас, охвативший девушку, явились как бы ответом на его слова. Наконец Марго разрыдалась, она поняла, что стала теперь по-новому дорога сыну бедной королевы Жанны и что в этой любви есть что-то грозное. Она сделалась для него каким-то роковым символом, образом из античной трагедии, тогда как сама по себе она довольно заурядная, добродушная девушка; не умеет противиться своим вожелениям и бывала за это иной раз даже порота; считает в порядке вещей, что при их дворе людей убивают и что каждого, кто становится поперек дороги ее матери, умеют ловко устранить. Сама Марго жила среди всех этих злодеяний, нисколько ими не смущаясь, и частенько отдавалась увлечениям, в то время как рядом совершались убийства.

– Вы, может быть, дочь той женщины... – повторил он, теперь уже лишь для собственного спасения, лишь из-за того ужаса, который все больше овладевал его душой, как бы предостерегая от бурно разраставшейся страсти.

– Может быть, – сказала она с глубоким равнодушием. И в самом деле, без всяких доказательств она была глубоко уверена, что и это злодейство могло быть совершено ее матерью с таким же успехом, как и все остальные, поэтому ей стало еще более жаль его, чем если бы он уже не сомневался и решительно бросил ей в лицо обвинение. Он был беззащитен, у него были ласкающие глаза, его мать убита ее матерью. А он готов ради Марго забыть обо всем. Это и особенно его полная невинность и непричастность к таким делам тронули ее сердце, оно пылко забилося, и Марго охватило нетерпеливое желание, чтобы юноша наконец оторвался от своих дум и кинулся на нее.

Он уже готов был это сделать, уже протянул к ней руки. Но в последнее мгновение он вскрикнул от ужаса, и она тоже вскрикнула – лишь потому, что его чувства стали полностью ее чувствами. Но увидела она далеко не то, что увидел он. Его блуждающий взгляд случайно задержался на одном из погруженных в зеленый сумрак закоулков лабиринта: оттуда им навстречу плыла призрачная фигура, словно желавшая встать между ними. Восемнадцатилетний юноша потерял голову, и прозвенел его отчаянный вопль:

– Мама!

Неизвестно, сколько времени продолжалось видение. Но вдруг он почувствовал, что Марго припала к его груди, ощутил желанную, покорную тяжесть ее тела, – она сама бросилась к нему, прижалась и проговорила, плача и смеясь:

– Там же просто зеркало, чтобы люди еще больше запутались среди дорожек; никто к тебе не шел, только я, твоя Марго! И теперь я – вот, потому что теперь я люблю тебя!

А сама думала: «Две слезы уже скатились у меня по щекам, посмотрим, выдержат ли румяна». Он же думал: «Теперь ей Гиз будет уже не нужен», и стал мять ее широкую жесткую юбку. Ибо при самых возвышенных побуждениях люди не забывают и о самых низменных.

Однако эти кошунственные мысли носились как беспомощные челны по бурному морю, и это была страсть. Всюду вокруг них – нечистая жизнь, тайные злодеяния, и только они двое вырвались на просторы пьянящей бури. В это море хотим мы кинуться, и никто о нас больше никогда не услышит! Они замерли, обняв друг друга: прекраснейшие мгновения, единственные и незабываемые. И когда, гораздо позднее, им доводилось встречаться и они уже не раз испытывали друг к другу презрение и даже ненависть, они вспоминали о тех минутах и вдруг становились опять юношей и девушкой из лабиринта, где стоял этот душный и пряный запах.

Марго высвободилась первая. Она просто изнемогла, чувства такой силы были ей еще неведомы. Забыл обо всем и Генрих. Как ни странно, но в первую минуту пережитое показалось ему постыдным, он уже готов был посмеяться и над ней, и над собой. За таким подъемом обычно следует смущение, поэтому они продолжали блуждать по узким извилинам лабиринта, и Марго уже не могла найти выход. Но когда выход вдруг оказался перед ними, она остановила Генриха и сказала:

– К сожалению, ничего не выйдет. Я не буду твоей женой.

Впервые с детских лет назвала она его на «ты» – и только чтобы отказать ему.

– Нет, Марго, мы должны пожениться. Иначе не может быть, – рассудительно настаивал он. А она:

– Разве ты не видел ту, которая хотела стать между нами?

– Моя мать сама желала этого брака, – торопливо сказал Генрих, чтобы пресечь все дальнейшие возражения.

Она же промолвила, изнемогая, задыхаясь:

– Мы этого не выдержим.

А имела она в виду, что им не выдержать такой страсти со столькими подводными рифами, – грехом, происками, подозрениями; да еще покойница сует между ними свое несчастное лицо и мешает целоваться! Марго могла бы, если бы захотела, все свои мысли переложить в латинские стихи; но она этого не сделала, в ее чувствах не было тщеславия. Она смирилась, хотя смирение и было несвойственно вольнодумной принцессе Валуа. В ней вдруг проснулось сознание христианского долга, вместе с ним и потребность в человеческом самоуважении. Нет, решительно в этом лабиринте с Марго произошло слишком много необычного, так не могло продолжаться. Все же она заявила:

– Тебе надо бы уехать отсюда, сокровище мое.

– Слышать, что меня так называют твои губы, и покинуть тебя?

– Это безнравственный двор. Я занимаюсь науками, чтобы ничего не видеть. Моя мать верит только своим астрологам, а те предсказали ей смерть королевы Жанны, – вероятно, другие поручили им это сделать. И мало ли что еще они ей нашептали.

У Марго могли быть всякие предположения относительно будущих событий, но, вместо того чтобы обратить подозрения Генриха на ее мать, она предпочла свалить всю вину на астрологов.

– Поскорей уезжай! – повторила она.

– Вот еще! Точно я боюсь! – Его возмущение все росло. – Не хватало только, чтобы я закутался с головою в плащ и Париж освистал меня, когда я буду удирать.

– Это в вас говорит глупая гордость, сударь.

– А у вас, сударыня, на уме не то, что на языке. Уж не герцог ли Гиз?

Столь жестоко не понятая в своих самых чистых побуждениях, принцесса Маргарита сверкнула гневным взглядом на бессовестного, и он не успел опомниться, как она вышла из лабиринта.

Танец-приветствие

Выбравшись из темного лабиринта, ослепленный ярким сиянием дня, Генрих все же увидел, что Марго ушла недалеко. Ее брат, король, перехватил ее и сжимал ей плечо так крепко, что лицо девушки скривилось от боли. Притом он злобно сопел и что-то выговаривал ей, а что – не разобрать. Ясно, что Карл слышал их последний спор. Обо всем, предшествовавшем этому спору, он знать не мог. Но Генрих затрепетал от воспоминаний, что-то поднялось у него в груди, словно горячий ключ, забивший из недр скалы. То же самое, конечно, чувствует и она. И напрасно она с этим борется!

Тем временем Марго удалось вырваться из рук брата, она выпрямилась, гордо и гневно стала перед ним.

– Вы не принудите меня, сир, выйти за гугенота. Мне всегда претили ваши интриги. Всем отлично известно, что я католичка, и я не собираюсь менять веру.

Карл Девятый сначала был изумлен столь неожиданным упорством своей сестрицы. Она осмелилась назвать планы их матери, мадам Екатерины, интригами! Затем он пошел на попятный; кроме того, король заметил Генриха и громко заявил: «На этот счет не беспокойся, моя толстуха, католичкой ты останешься и при своем гугеноте», и добавил вполголоса несколько слов: может быть, это была угроза, может быть, он произнес имя их матери, ибо принцесса на миг испуганно отвела взор и покосилась на верхнее окно. Брат, видимо, решил, что сопротивление ее сломлено, взял за руку и неторопливо повел к предназначенному ей господину и повелителю.

– Вот тебе моя толстуха Марго, – обратился Карл Девятый к Генриху Наваррскому. И тут же продолжал: – Наварра, мы с тобой еще не поздоровались, я был занят собаками. Но мы наверстаем упущенное и выполним все в подобающей форме.

Он тут же отошел на двадцать шагов, хлопнул в ладоши, – вероятно, он уже успел распорядиться, и даже весьма обстоятельно: задержавшись в лабиринте, влюбленные дали ему эту возможность. Правда, все могло быть подготовлено и другой особой, притом еще обстоятельнее.

С двух сторон из-за Луврского замка, выходявшего своим прекрасным фасадом в парк, появились две процессии разодетых придворных, одна двинулась в сторону короля Франции, другая обогнула короля Наваррского. Перед домом выстроились солдаты – слева швейцарская стража, справа – французская гвардия. Те и другие ударили в барабаны, и под вихрь барабанной дробы придворные заняли свои места. Тотчас из ближней залы донеслись торжественные и нежные звуки скрипок и флейт.

Тем временем средние двери дворца распахнулись. Оттуда вышли дамы – множество прекрасных фрейлин, но все они, подобно жемчугам, окружающим крупные бриллианты, только сопровождали обеих принцесс-жеманниц, а те, подчеркивая свою изысканность, держали друг друга лишь за кончики высоко поднятых розовых пальчиков и делали шажки так осторожно, будто ножки у них из стекла. Это были Маргарита Валуа и Екатерина Бурбонская. Но как ни заученно выступали они, в их движениях чувствовались живость и своеволие. В такт музыке они проследовали между двумя рядами придворных. Солнце озаряло принцесс с головы до ног, и, когда они остановились и обернулись, чтобы видеть торжественную церемонию, которая должна была сейчас начаться, все на них засверкало, переливаясь блеском, – парча, диадемы, нежная, холеная кожа. И все-таки они являлись лишь второстепенными фигурами, дополнительным украшением этого праздника. Присущий обоим насмешливый ум на этот счет их не обманывал; и самолюбивой Валуа, и простодушной дочери Бурбонов это показалось забавным, и они сообщили друг другу о своих впечатлениях легким пожатием пальцев.

Встретились глазами и брат с сестрой – Генрих с Екатериной. И глаза их как бы сказали друг другу: «Помнишь наш маленький замок в По, огород и дикие горы? К чему все эти фокусы! Однако – внимание: нам и этому нужно учиться. Откуда у тебя такое красивое платье? А у тебя? От нашей дорогой матери, от кого же еще?»

Их разговор без слов продолжался лишь мгновение. Карл Девятый уже начал «большой церемониал». Генрих услышал за своей спиной чей-то голос, – может быть, он принадлежал д'Обинье, Конде или Ларошфуко, а может быть, и молодому Лерану.

– Сир, – прошептал этот голос. – Точно подражайте во всем королю Франции!

– Кажется, это будет в первый раз, – отозвался Генрих, однако был тут же вынужден признать, что Карл в совершенстве владеет ритуалом.

Король Франции – он был в белой шелковой одежде, коротких панталонах с буфами, длинных чулках и в берете с пером – сделал шаг, всего один шаг, но этот шаг послужил сигналом для его братьев, герцогов Анжуйского и Алансонского, и они тут же встали у него за плечами. Подобное сочетание трех фигур имело глубокий смысл, и оно означало: «Я и мой дом». В этом сочетании было столько гордости и величия, что преждевременно опустившийся Валуа вдруг снова, как в юности, блеснул утонченностью своей породы. В ту же минуту оркестр заиграл громче – вступили деревянные трубы. До того музыка звучала пленительно, теперь она загремела торжественно и важно, все нарастая, пока вновь не грянула дробь барабанов.

А над королем, над его сказочным дворцом, над залитой блеском свитой простиралось высокое, легкое, светлое небо. Звуки разносились далеко, особенно по водам Сены, которая была отделена от ограды изысканного парка лишь заброшенной и пустынной полосой берега. По береговому откосу уже карабкался кое-кто из прибрежных жителей, самые ловкие пытались даже одолеть стену. Стража просто-напросто спихивала их вниз древками алебард; поэтому все, кому удавалось подсмотреть кусочек происходившего в парке представления, которое давали сильные мира сего, были очень довольны, и даже те, кто ничего не видел, весело шумели, как и полагается народу.

А в это время одно из окон верхнего этажа, выходящих в парк, тихонько скрипнуло, правда, этого скрипа никто не слышал, и между створками показалось высунувшееся из-за штор свинцово-серое лицо. Похожие на угли глаза старухи следили за тем, что происходило внизу, хотя все это было ею же самой придумано и подготовлено: торжественная встреча короля-католика с королем-гугенотом, участие в ней обоих братьев короля, похвальба огромной блестящей свитой – такое зрелище неизбежно должно было вызвать у сопляка-беарнца и его оборванцев ощущение, что сами они – люди ничтожные, и укрепить их доверие к королевскому дому.

Об этом и размышляла старуха со свинцово-серым лицом, и улыбка морщила ее тяжелые щеки.

Только Марго могла видеть ее со своего места, и вдруг, неведомо почему, принцесса почувствовала дурноту. «Что я делаю! Ведь этого-то я и не хочу, и добром это не кончится! Если я дам зайти сближению еще дальше, случится что-то ужасное. Как раз сейчас мне следовало бы опять сойтись с Гизом, – хотя с нынешнего дня между нами всему конец, – чтобы, несмотря на все, расстроить мой брак с Генрихом, которого я люблю как собственную жизнь».

Марго была одна со своими предчувствиями, со своей совестью. Все, даже ее возлюбленный Генрих, целиком отдалась внешней стороне совершавшейся церемонии. Впрочем, эта церемония вскоре опять захватила ее, и, как обычно, внешние события заглушили голос совести. А Генрих тем временем все подмечал. Кроме лица в окне, от него ничто не ускользнуло – ни поистине царственный размах праздника, ни выражение на лицах его участников, ни даже голоса народа, который по-своему принимал участие в этом балете. Так называл юноша про себя торжественную церемонию, участником которой оказался. Смутные предчувствия его не тревожили, зато ему не изменяло критическое остроумие, и никакой показной блеск не мог

затуманить зоркость его взгляда. Поэтому Генрих, видя вокруг себя множество лиц, готов был поклясться, что их выражение заранее заказано и заказ оплачен и выполнен.

Несмотря на все эти наблюдения, он тщательно подражал Валуа: делал то же па, так же долго держал ногу поднятой и опускал ее почти на то же место, чтобы шествовать как можно медленнее и торжественнее. Рядом с Генрихом, вернее несколько отступя, следовал его двоюродный брат Конде – единственный представитель бурбонского дома, который оказался налицо. Как только король Франции и его братья пригласительным жестом простирали руку над ладонью вверх, прижимали ее к сердцу или снимали шляпу, Генрих и его кузен спешили проделать то же самое; они тоже были в положенной роскошной одежде – почти единственные среди гугенотов. Обе группы продолжали двигаться друг другу навстречу под звуки музыки, точно исполняя некий священный танец, соответствовавший высокому сану короля – как избранника и помазанника Божия. Они все более сближались, и каждая уже не производила впечатления какого-то нераздельного целого; уже бросались в глаза детали, а они всегда вызывают разочарование, нарушая словно бы уже достигнутое единство. И все более подозрительными становились те, кто надел на свое лицо заказанную ему личину.

«Взять хотя бы де Нансея, – он мне вовсе не друг! Остережемся его! Он начальник личной охраны короля. Я заранее уверен, что мне еще придется увидеть его настоящее лицо, когда оно не будет почтительно улыбаться по заказу. Самое главное – внушить им такое уважение, чтобы никакие балеты были уже не нужны. Все это лица людей, которые нам ничего не забыли, а мы – им. А какова, например, вон та улыбка? Кажется, это некий де Морвер?»

– Кузен, того придворного зовут не Морвером?

«И это называется улыбкой? Но ведь совершенно ясно, что ему гораздо больше хочется убивать, чем кланяться! Морвера я возьму себе на заметку».

И все же самые убедительные открытия бледнеют и на время забываются, если к ним случайно примешивается личное чувство неловкости, вызванное хотя бы ощущением того, что ты смешон. Но именно это и произошло, когда Генрих, подойдя ближе, увидел иронию на лицах тех, кто находился в задних рядах и считал себя в полной безопасности. Генрих сразу понял, что давало королевским придворным сознание их превосходства: убогий вид его свиты. Этого открытия он все время втайне опасался и потому собрал вокруг себя тех, кто был одет получше. Их оказалось, увы, немного, и, подойдя вплотную к партии Карла, они уже не могли заслонить остальных, шагавших позади, – толпу людей в потертых колетах и запыленных башмаках. Гугеноты явились сюда в том виде, в каком были, когда их наконец, после долгого ожидания у ворот подъездного моста, впустили в этот ненавистный Лувр – притом, разумеется, лишь самую ничтожную часть отряда. Но у них лица были не заказные, а настоящие, шершавые и обветренные, в отличие от гладких лиц придворных, и, не поддаваясь их слащавой любезности, они хранили выражение суровости и благочестия. Там – тщеславный блеск и ледяная чопорность, здесь – неприкрытая бедность, которая явилась сюда требовать своих прав. Ведь люди Генриха вели войну ради того, чтобы жить, а иные – ради высшей жизни, и называли они ее иногда верой, иногда свободой.

Впервые за все время, что Генрих был здесь, ему вдруг стало весело. Он готов был громко расхохотаться и, вероятно, с большим правом, чем царедворцы, которые только усмехались. Вместо этого, став перед Карлом Девятым, он сначала ударил себя в грудь, а затем низко склонился и описал правой рукой круг у своих ног. То же самое Генрих проделал справа и слева от короля Франции и, вероятно, повторил бы поклон даже за его спиной. Но Карл привлек шутника в свои объятия и запечатлел на его щеках братский поцелуй, причем тайком ткнул его кулаком в бок. И тот и другой отлично поняли смысл этого жеста. Сейчас опять происходит та же пародия на почитание, которую некогда разыграл семилетний мальчик, встретившись с двенадцатилетним.

– Ты все такой же шут, – сказал Карл, но шепотом, и никто, кроме Генриха, его не слышал. Затем торжественно представил ему своих братьев, как будто вместе с одним из них Генрих не протирает штаны на школьной скамье, а позднее не стоял против него на поле брани. А сколько шалостей они вместе вытворяли! Тем временем наверху снова скрипнуло окно, – его закрыли, ибо цель комедии была достигнута и проделка удалась. Теперь у деревенского увальня должно было сложиться впечатление, что эти Валуа – несколько странное, а в общем, неплохое семейство; так говорила себе старая королева, которая тоже была не лишена известной доли юмора.

Но вот в оркестре все инструменты отступили перед арфами, и это послужило знаком для дам. А чтобы они его не пропустили, первый дворянин короля де Миоссен еще кивнул им. И дамы действительно двинулись с места, впереди обе принцессы. Они едва касались друг друга высоко поднятыми пальчиками, да и ножки их словно не ступали, а парили над землей. Остановившись со своей свитой молодых нежноцветных фрейлин перед обоими королями, жеманницы-принцессы плавно опустили на колени, вернее почти на колени, ибо все это совершалось только условно, так же как и целование руки у короля Франции, причем благородство его движений казалось в этот миг поистине неподражаемым. Он сделал вид, что поднимает сестру, а затем подвел к ее повелителю, королю Наваррскому. И на этот раз Карл уже не сказал: «Вот тебе моя толстуха Марго».

Что же касается до самого Карла, то он подал руку Екатерине Бурбонской. С ней открыл он шествие. И процессия под медлительную музыку чопорного танца двинулась вокруг парка к птичнику. Здесь можно было полюбоваться причудливыми пернатыми «с островов». Они искрились и сверкали в солнечных лучах не хуже самих принцесс. Особой диковинкой была огромная клетка с птицами, ее непременно следовало показать гостям. И она в самом деле произвела сильное впечатление.

– Эге! – воскликнул один из гугенотов. – Говорящую птицу и я бы завел, да только если она умеет служить обедню! – Его спутники громко рассмеялись. Но придворные Карла не смеялись.

Эти птицы «с островов» обладали не только даром речи: иные, особенно самые мелкие и пестрые, так звонко чирикали, что заглушали даже веселый гомон народа за стеной парка. Мало-помалу прибрежные жители все же одолели стену, многие уже сидели на ней и громко восхищались представлением, в котором участвовала вся знать. Однако мужчины, дамы и птицы находились слишком близко к любопытным, поэтому стража стала гнать народ более решительно. Какого-то парнишку, который, видимо, намеревался спрыгнуть в парк, столкнули обратно, но уже не древком алебарды, а острым концом. Слабо вскрикнув, он свалился за стену и исчез; это видели и слышали немногие, но в числе их были Генрих и Марго.

– Первая кровь! – сказал Генрих Марго.

А она стала белее своих белил.

– Приятное предзнаменование, – огорченно пробормотала принцесса.

Генрих же воскликнул:

– Все эти пернатые твари напоминают мне о жареных курах и о том, что многие из нас давно ничего не ели!

Голодная свита встретила его слова шумным одобрением. А царедворцы Карла смиренно ждали, пока их королю заблагорассудится кончить церемонию.

Когда это наконец произошло, общество, еще не входя во дворец, разделилось. Оба короля, принцессы, принцы – среди них Конде и фрейлина Шарлотта де Сов – воспользовались скрытой в стене лестницей, знаменитой лестницей тайных посещений, милостей и злодейства. А свита поднялась по предназначенной для всех широкой лестнице.

За королевской трапезой

Наверху в замке были накрыты столы – один для королей, в парадной зале, и несколько – для их приближенных, в вестибюле. Хорошенькие фрейлины из свиты принцесс исчезли, но до обеда гости едва ли заметили. Лишь позднее, когда настроение повысилось, они вернулись целой толпой.

Король Наваррский вылил в тарелку с супом стакан вина, что весьма удивило короля Франции и принцессу Валуа, потом стал есть много и торопливо, и во время этого занятия Генриху было не до разговоров. Ему хотелось одного – услышать, о чем там толкуют его люди со здешними придворными. Однако музыка играла слишком громко.

Некий господин Морвер, сидевший в другой зале, выказывал особенное уважение к выдавшему виды колету своего соседа – долговязого дю Барта. Почтительно осведомился этот царедворец, во скольких же походах участвовала сия столь поношенная часть одежды. Протестант, еще не имевший привычку ни к зубоскальству, ни к бездушной учтивости двора, угрюмо задумался, потом сказал:

– Мы провели много дней в седле. Но если даже человек хочет объехать вокруг всей земли, он все равно едет навстречу своей смерти. Мы с вами едем врозь, Морвер, но оба умрем. – Тут он выпил, заставил выпить и Морвера.

Дю Плесси-Морней не нуждался в вине, чтобы довести до белого каления сидевшего против него де Нансея.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.